



Возрождение эпопеи

Белорусский писатель и общественный деятель Василь Тимофеевич Яковенко ранее был знаком русскоязычному читателю по книгам художественно-публицистической прозы «Через гать» (1982), «На что нам жизнь дана» (1991), вышедших в Москве в издательстве «Советский писатель», а также повести «Приручение земли», изданной в «Политиздате» (Москва, 1975).

Василь Яковенко — один из сильнейших публицистов. В свое время он вместе с российским писателем, лауреатом Ленинской премии, Иваном Васильевым, наладили многодневное путешествие по Беларуси. Немало обеспокоенные духовным и культурным обнищанием жизни в советской деревне, они пристально изучали село. Этому посвящена дорожная повесть Василя Яковенко «Деревенские диспуты», включенная в книгу «На что нам жизнь дана». Но только сейчас мы имеем дело с национальным эпосом...

Трилогия «Пакутны век» стала реальным художественным воплощением в жизнь конкретно-феноменологического модуса современной эпопеи. В ней воссоздан исторический облик белорусского этноса, показаны социальные и духовные истоки его жизнестойкости в борьбе за сохранение общеевропейских культурных и социальных ценностей. Сказанное вовсе не перечеркивает пластической, чувственной конкретики художественного произведения. То же следует сказать о психологических характеристиках персонажей — от селянина Петра Романовича (Писарчука) до помещика Романа Скирмунта, от Вильгельма Кубэ, генерального комиссара Беларуси, до комкоров Красной Армии Ильи Алексеенко и Василя Виноградова, от просветителя и разработчика космического топлива Бориса Кита до государственных деятелей Кирилла Мазурова, Никиты Хрущева... Повествование ведется проникновенно, с опорой на действительные события, факты.

Прозаик родился на белорусском Полесье и, будучи по первой профессии геологом, не порывая своих дум и чаяний с природой, приобрел бойцовские качества эколога. Беларусь и Европа обязаны ему тем, что в 1988 году была предотвращена крупнейшая экологическая катастрофа — осушение и распашка широкой поймы Припяти, превращение русла большой полесской реки в сточную канаву. При поддержке других писателей Василь Яковенко организовал в Минске международную научно-практическую конференцию с участием специалистов, ученых, руководителей государственных органов, она-то и помогла образумить одержимых мелиораторов. Не отдавая себе

отчет в том, что делают, они всерьез, ни дать ни взять — по-державному, планово и усердно готовили наступление зловешей пустыни на извечно зеленом Полесье, с негативными изменениями климата на материке.

Руководствуясь высоким чувством гражданской ответственности, Василь Яковенко четверть века назад основал и возглавил общественное объединение Белорусский социально-экологический союз «Чернобыль», действующий и поныне, издавал газету «Набат». Последняя, став популярной, шла по подписке читателям не только Беларуси, но и СССР. Газета своевременно и неустанно раскрывала истинное положение дел на загрязненных радионуклидами территориях. В то же время общественное экологическое объединение БелСоЭС «Чернобыль», опираясь на помощь японцев, содержало под Минском санаторий по оздоровлению чернобыльских детей.

Однако, как ни удивительно, на то же чернобыльское лихолетье приходится и пик творческой активности литератора. Никто не ожидал, что с тем же размахом, как в публицистике, он преуспеет и в художественной прозе.

Воссоздавая картины жизни белорусского этноса в не столь отдаленном прошлом и наше время, автор обращается к разнообразной тематике, не избегая и того, что ранее считалось запретным. Подлинная правда, бескомпромиссная и даже жестокая правда — главная движущая сила прозы и публицистики Василя Яковенко. В этой связи уместно привести одно из высказываний Ф. Кафки: «Книга должна быть топором, разрубающим замерзшее море, которое находится внутри нас».

В трилогии «Надлом. Кручина вековая» лирическое авторское переживание событий и их философское осмысление составляют своеобразный художественный монолит, обладающий могучим зарядом духовной и нравственной энергии. Писатель, не обращая внимания на модные теории отмирания романа, трансформации его жанра в формы триллера или «новой мифологии», в своем романе продолжает и развивает традицию эпического повествования, что в филологии называется нарративом. Ему органически чужда игра с технологиями «нового романа», в котором едва обозначен контур структуры, заполненной технологией истязаний, и фактически отсутствуют такие феномены художественности, как хронотоп — единство художественного пространства и времени. В. Яковенко идет в русле традиций Л. Толстого, В. Реймонта, Г. Сенкевича, К. Чорного, И. Мележа, В. Быкова, усиливая при этом смысловое значение символического ряда обнажая трагические смыслы недавнего прошлого и тем самым мобилизуя потенциал интеллектуального, духовного, или философского мужества, столь необходимого современному человечеству в его поисках пути к новой культурной цивилизации.

Алексей Рагуля, литературовед, профессор
культурологии, кандидат филологических наук

Надлом

КРУЧИНА ВЕКОВАЯ





*Родной земле,
высоким устремлениям предков,
вольному духу земли посвящаю.*

Автор

Пролог

Осень. Мягкий покой в сизом сыроватом воздухе, и достаточно легкого дуновения, чтобы зашевелились притихшие, дремотные ветки деревьев и, сорвавшись, полетела на землю с кленов и лип влажная листва, яркая, будто выделанная из настоящего золота. От мягкого, насыщенного отсвета ее проходим становилось легко и спокойно, но в то же время навerty- валась грусть.

По столичному бульвару, засыпанному желтой листвой, шли трое, вместе с автором этих строк. Высокий, осанистый Лявон, с усами, на которые нависала хребтина носа, был похож на фальварковца или крепкого селянина-земляра, как говорили в наших краях, когда не было еще колхозов. Второй, Максим, был пониже ростом, но в его походке чувствовалась немалая физическая сила. Он был геологом, имел, между прочим, интерес и пошире — к мироустройству, а работал в одном из академических институтов. Оба — мои приятели. Мы с Максимом молчали, а Лявон вдруг стал читать свои стихи:

Залатая завіруха
Замятае маю скруху
Ды сцяжынкi замятае,
І лісцё на дрэвах тае*.

Поэтический умиротворенный лад стихов подталкивал нас на размышления о течении времени, о человеческом житии.

Лявон легко переходил от поэзии к прозе:

— Если прикинуть, сколько раз на веку вот этак жертвенно отгорают и опадает листва этих, скажем, полных достоинства кленов и красавиц лип, то счет покажется не таким и значительным. Ибо, что такое сто

* Золотою вьюгой осень
Грусть-печаль мою заносит
Да тропинки заматает,
И листва на ветках тает.

раз листва опала или — даже пятьсот! — пятьсот листопадов от жизни наших предков в средневековье! Каких-нибудь двадцать — двадцать пять поколений осыпалось. А там в государстве был расцвет и, как известно, правовой мудрости было больше, гораздо больше, чем выпало на нашу долю.

— Ну так, ну так, — соглашался геолог, который, что и говорить, не слишком много знал из прошлого своей страны и народа, из которого вышел. Годы его становления и возмужания проходили на тот период, когда не было принято копаться в родословной, в истории своей земли, своих предков.

А Лявон расширил наплыв своей мысли:

— Удивляет, брат, не столько разница в мышлении, хоть и это важно, сколько то, что произошло в характере цивилизации вообще. Раньше государства друг друга грабили — делили и никак не могли поделить территории. Уж не на Гитлере ли эпоха разбоя окончилась?

У геолога Максима был на этот счет другой взгляд.

— Нет, пожалуй... Наблюдаются рецидивы. За примерами далеко ходить не надо.

— Возможно... Только теперь время иных устремлений, оборачивающихся глобализацией. Над всеми государствами начинают брать верх ростовщики, мультимиллиардеры, транснациональные корпорации, вооруженные новейшими информационными и производственными технологиями. Именно они теперь снимают скальп с народов.

— Уточним: с каких народов?

— Со всего человечества.

— Допустим...

— Время краснокожих индейцев прошло. Да только для транснациональных корпораций все люди — индейцы из прерий!

— Так, согласен, и мы — не исключение! Мы даже сознательно мажем себя в красный цвет — герои! — отреагировал неожиданно на высокой ноте геолог. — Я вот несколько недель ношу газету. В ней — информация из американских источников. К нашему общему удовольствию действует всемирное так называемое правительство — клуб Бильдербергеров, где некоронованный король — триллионер Барух и его сообщники — масоны Лейба, Шифф, Кун... Клуб владеет львиной долей богатств на нашей планете, повязанной жадностью. В клубе шестьдесят три золотые головы и среди них одна рыжая — из России. На подходе иные коллеги — казнокрады, нувориши. Как вам это нравится?

— Э-эх! Думаю, что это только для нас новость, а там, за океаном, — секрет полишинеля. Тары-бары!.. Видите, в какую сторону повернули цивилизацию? Компаниям, держащим денежные потоки в своих руках, вообще не нужно владеть колониями. Им достаточно в той или иной стране вызвать финансовый кризис, а потом уже, «помогая», прибрать к своим

рукам предприятия, недра, пути сообщения, трубопроводы... Сюда, в Беларусь, тянутся щупальца спрутов с востока.

— Уважаемые! — решился наконец и я вставить в гуторку свои три гроша. — От порочной глобализации есть, пожалуй, одно спасение — сплоченный народ, его бессмертное духовное наследие! Не случайно же ЮНЕСКО приняло Всеобщую Декларацию о культурном разнообразии, способствующую защите каждой страной своей самостоятельности, самобытности — культуры, языка, если хотите, своего национального характера.

— Декларацию... способствующую... — Лявон уставился на меня своим остисто-испытующим взглядом. — Хорошо, если есть кому способствовать. А нам после всего, что сотворили с нашим народом, нужна серьезная реконструкция храма духовной культуры или, как говорят поляки, направа быту. Только ведь от наших титулованных маргиналов от культуры — один бзик, от них никакой направы не дождешься. Ох силен, силен у них комплекс небрежения, даже враждебности ко всему своему!

И, обращаясь к Максиму, поэт продекламировал:

Не чувствуя паденья,
Шагаем к вырожденью.
И скажут, как о прусах,
О бывших белорусах.

— Разве ж не так?.. — спросил он.

— Так-так, — согласился я. — До смерти жаль!

— У меня есть книга Гумилева. — Максим замедлил шаг, разглядывая яркий, дивно сотканый из опавшей листвы ковер. — Гумилев пишет о древних племенах, но не обделяет вниманием и нас. В белорусах* он видит исконное древнерусское, стоит только подчеркнуть — не российское, а наше славянское племя, которое, мало изменившись, вступило в XX столетие. Его не затронули, по крайней мере, не изнасиловали и не выкрестили ни татаро-аккерманские орды с юга, ни немецкие рыцари, которым дали запоминающийся урок при Грюнвальде. Я думаю, уместно было бы сказать, что и поляки его не растворили.

Да-да, как и москвиты тоже! — живо поддержал разговор Лявон.

Я почувствовал необходимость уточнить позицию Гумилева:

— Гумилев пользуется термином «пассионарность», что значит — высокий дух, национальный подъем, период активной творческой деятельности. Так вот: он ведет к мысли, что белорусский этнос дожил до своей последней фазы, превращаясь в древнеславянский заповедник. Одним словом, от народа, от государства и культуры остался исторический реликт?..

— Почти так... Пассионарность угасла, как угасает звук задетой струны.

* В книге, согласно произношению белорусов, в прямой речи персонажей слова «беларус», «беларусский» пишутся через «а».

— Не поверю! — категорично заявил тут Лявон. — Она, быть может, притихла? Наверняка! Да и то не сама по себе. Ибо сколько раз лиходеи, враги наши, резали, рвали тонкие струны, а они же возрождались и звучали по-новому. Вспомните начало двадцатого века, особенно революционные и первые советские годы.

Научный работник Максим смотрел на поэта изумленным взглядом. Он, верно, радовался Лявону и сочувствовал. Сочувствовал и завидовал, поскольку, если честно, тоже тосковал по национальной напаве, по мове, с которой был знаком в детстве и от которой потом в русскоязычных учебных заведениях отвык и в суетном одиночестве больше не осмеливался к ней возвращаться, как и много кто из белорусов; при этом Максим чувствовал себя неловко, не здесь будь сказано, словно в шкуре предателя. Такое ощущение возросло, усилилось, когда он вычитал у Гумилева, что слово «нация», собственно, происходит от латинского — рождение, в буквальном смысле: рождение языка и территории. Вот что есть нация! Поэтому теперь, так или иначе отрекаясь от родного языка, он, выходит, предает свою землю, свою нацию, превращается в маргинала. Подобное представление у него шло из подсознания.

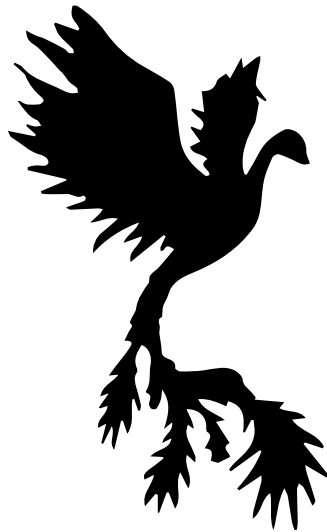
Я понимал своих приятелей, одного и другого, и когда Лявон, пестуя лад в душе, читал свои стихи, мне вдруг пришло в голову, что тема нашей беседы всегда была близкой и понятной абсолютному большинству белорусов, волновала их, бередила память и душу. Недаром же известный воевода и государственный деятель средневековья, публицист и, при всем, староста Орши Кмита-Чернобыльский в своих письмах к соотечественникам затрагивал свойственные им простодушие, уступчивость, излишнюю доверчивость и недооценку опасности со стороны жадных соседей. Отмечая это, он восклицал: «Ото, государю пане, от таковых бед люди топятса! Ото с таковых нендз давятса! Ото с того в неволю даютса!»

Тема не избитая, не изношенная, она по-своему будет отражаться в художественной ткани этого произведения и, надеюсь, не оставит равнодушными читателей. Хорошо бы так!

Лявон тем временем читал:
Бывает смутною порою
Вдруг боль нежданная накроет
И, отразясь в душе угрюмой,
Разбередит о давнем думы,
Как рану старую под коркой.
И мне тогда бывает горько...
.....
Земли моей кресты и крылья,
Вас тут хватило б в изобилье
Куда на большие державы!..
Кто нынче мы? Где наша слава?

КНИГА ПЕРВАЯ

Кабала





Ей аплодировали, и не успело лицо женщины озариться радостью, как откуда-то изнутри поднялась новая горячая волна, наполнила сердце, охватила все ее существо. Чувства смешались, и притихший зал людей, принадлежавших к влиятельному сообществу «Rotary Club», поплыл перед глазами.

— Ах, бабушка-дедусь...

Не зная сама, то ли вслух, то ли всего лишь мысленно, произнесла она:

— Ах, бабушка-дедусь, если бы ты только мог видеть, что пришлось на долю твоей внучке, какая честь ей досталась!

Потрясение от неожиданного наплыва горечи, неутоленной обиды, напоминания о давнем унижении и умиление собой было таким сильным, что, познав успех, леди или, лучше сказать, пани докторка не сдержала слез, а ее внимательные и строгие слушатели, которых в этой чужой для нее стране трудно было чем-нибудь пронять, оживились, встали с мест, направились к невысокой трибуне, за которой она вытирала глаза платочком. Доклад «О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний» и вопросы, которые ей задали, пожалуй, были исчерпаны. Докладчица толково говорила о назревшем, о злободневном, показав себя сведущим и опытным кардиологом. Им же, искушенным в житейской кутерьме питтсбургцам, представлялись интересными мысли о наиболее распространенных причинах заболеваний и их возможном предупреждении в этом округе. Однако они не были бы настоящими американцами, если бы не увидели в ней удивительную личность, простота, искренность и проникновенность которой, наверное, переходили в особого рода чувствительность, потому и слезы, загадочные слезы, что переполнили взволнованную женскую душу.

Мария Демкович говорила по-английски с неопределенным славянским акцентом:

— Простите... Нашло. У вас такая замечательная и свободная страна! А я... я вспомнила свою и не сдержалась... Поймите меня.

— О'кей! — ответил ей, улыбаясь, глава клуба, высокий лысоватый мужчина с черной бородкой. — О'кей, доктор Демкович, сэньку!

Он галантно склонился и поцеловал ей руку. Кое-кто из его коллег сделали то же самое. Взволнованной признанием женщине иногда казалось, что происходящее сейчас вокруг нее — скорее сон, а не реальность. Некоторые из участниц клуба старались затем задержаться возле нее, чтобы получше разглядеть и словом-полусловом отблагодарить либо вызвать на

какой-нибудь новый разговор. Некоторые звали ее просто: доктор Мария или еще проще — Мэри...

Мария Демкович постепенно овладела своими чувствами, но внезапно ее охватила страшная усталость, граничащая с безразличием ко всему. Ей хотелось сейчас же уйти, оставить образованную публику, но усилием воли она сдерживала слезы и старалась даже улыбаться, правда, в ее доброжелательной улыбке сквозило чувство какой-то вины и покаяния. Врачи видели на энергичном и утомленном лице своей коллеги ответ неугасшего огня. Тот, кто встречался с ней взглядом, переживал момент доверительного взаимопонимания, и ему становилось покойно и хорошо — как после причастия.

— Доктор Мария, — обратилась к ней миссис неопределенного возраста, о которой Демкович знала, что она психиатр, — нам сказали, что вы приехали из Польши, где остался ваш дом. О, родина всегда теплее прочих... Не так ли?

— Шур! — как-то машинально ответила она, что на их языке означало: «Верно!» — Я в Польше училась, и там остались мои молодые годы. А теперь — не совру — мне и тут хорошо. Сэнкью! Я благодарна вам, благодарна этой стране. А вообще моя родная земля, о которой вы говорите, еще немного дальше — на восток от Польши.

— Russia... Русь... Россия? — догадались слушатели, и мало кто, кроме психиатра, наверное, мог заметить, что по вдохновенному с мягкими очертаниями и привлекательному лицу миссис Демкович пробежала тень.

— Но-о, нет, — покачала она головой и произнесла после паузы с некоторым напряжением в голосе: — Беларусь... Беларусь — моя родина.

Расходились. Миссис Демкович угадывала общее благосклонное к ней отношение, участливость, и сердце сладко замирало.

Вскоре она подъехала к своему небольшому двухэтажному коттеджу, поставила машину в гараж под домом и поднялась наверх. От света весь интерьер заиграл и вызвал еще раз чувство уверенности и удовлетворения. Однако же, перипетии волнительного дня вскоре снова вернули Марию в далекое местечко, где прошло ее детство и где под деда ласковыми ладонями впервые проклюнулся росток ее достоинства, чести и гордости. Там не было границ мечтам и вольной воле. Там все цвело и она чувствовала себя так хорошо. По-новому накатила волна, от которой она днем едва не захлебнулась.

— Ах, дедушка-дедусь, если бы ты был жив и видел меня сегодня!..

Задержавшись у большого трюмо, пани Мария бросила туда взгляд — увидела себя и как будто не себя даже, а свою тень, независимо от нее мелькнувшую вдаль. Уткнулась в подушку и заплакала горько, навзрыд. И не заметила, как уснула и оказалась далеко-далеко, там, на земле или скорее над землей, лежавшей зеленым ковром между Польшей и Россией. Летом все там манило, призывало, чаровало цветами, а зимой земля

отдыхала под белым пушистым покрывалом, укутывалась в серебристый иней, наряжалась в такие небывалые одеяния — до самых последних веточек деревьев, до коньков хат, — и пело-пело звонко и тоскливо в тростниках над озером и под стремительными полозьями саней.

Мария видела и чувствовала дух деда Петра, принадлежавший теперь и этой земле, и так называемому космосу в равной мере. Он как будто растворялся в широком и бесконечном пространстве, которое несло в себе скрытую сущность всего малого в большом и — наоборот. В то же время его дух существовал и сам по себе, обособленно, свободно. Он имел обычай приближаться вплотную к земной обители, к своему жилищу, и опускался на грешную землю, когда слышал, что там творится нечто судьбоносное, просветленное, божественное, что отвечало его пониманию, его наклонностям, ритму, характеру. Само собой, дух деда любил наблюдать за тем, как творится по-новому жизнь, которую он тоже когда-то творил, обосновавшись в теле крестьянина Петра. Ему, духу, посчастливилось иметь такое ладное тело, в котором каждая живая клетка посылала импульсы сознанию, душе, и, может, благодаря такому созвучию самих начал, в плоти Петра не было ни сучка ни задоринки — кровь по жилам шла — аж звенела.

Теперь Петров дух был оскорблен и возмущен одновременно. С этим невысказанным и страшнолюдным для себя приобретением он подолгу задерживался на том самом месте, где оборвалась нить жизни и тело осунулось, и там, на мотольском кладбище, у земляного холмика, стоял и стоял невидимый, одинокий и вместе с тем не отринутый землей, родственниками и другими близкими людьми. Стоял, не шелохнувшись, как солдат в почетном карауле.

У него, ясное дело, не было никакой охоты покидать уголок, где живой, земной, отлитый из плоти Петро собственной волей (и так славно) развернулся в труде. Он жалел Петра, жалел землю, на которую Петро упал, не прощавшись ни с семьей, ни с окрестностями. Какое-то время его дух еще бродил по полю, в дубраве, на пасеке и, конечно же, возле хаты, в самой хате, сложенной умелыми, сильными и опытными руками Петра. От хозяина везде там все-таки что-то оставалось и с ним соединялось.

Неоднократно и настойчиво он входил в сознание живых. Он являлся к Аксинье в снах, мало того, заглянул к ней на второй же день после похорон вместе с Павлюком, их сыном, тоже покойником, тело которого, как и его тело, нашло свой последний приют под одним холмиком. Аксинья, которую не оставляли отчаяние и страх, уже не знала, к каким стенам приткнуться, ибо свой дом для нее все больше отождествлялся с гробом. Аксинья восприняла сон как знак внимания со стороны мужа и сына — покойников, — как повестку к ним, в мир иной. Прибитая горем, она и рада бы броситься к ним сломя голову. Да — как и — зачем?.. Люди советуют бежать отсюда, из родного местечка, где брат брата не помнит

и сам дьявол, похоже, учит истреблять друг друга. Кто знает, что еще судьба назначила ей? И, таясь от лишних глаз, Аксинья пошла в церковь, поставила свечи за упокой души Петра, своего человека, за упокой души Павлука-сына и свояков, Павла и Николая Миховичей. Скорбя, помянула их, умывшись слезами, прося успокоения им, их душам. Родня родней, а негоже мертвым подолгу задерживаться подле живых, всматриваться и пытаться что-то уяснить — переживать. На том свете должен быть вечный покой, и только. А то ни тут, ни там не будет спасения.

Совершенно по-другому отнеслась к явлению своего деда во сне деревенская ласточка, со слов бабушки, темноволосая тринадцатилетняя Мария (дома ее звали Маней). Маня проснулась радостная, словно свадебная гармонь, легкая, как пушинка, — казалось, если бы мама подула на нее — взлетела бы вверх! Легкость Маниных чувств объяснялась тем, что ее навестил дедушка, а вместе с ним — и светлое-пресветлое, счастливое детство, улетевшее-улетучившееся в лихую годину.

Праздничные чувства и грезы Мани были обманчивыми и недолгими, они вскоре сменились иными чувствами — давкой обидой, грустью, слезами. И все же Маня была рада, потому что после той ужасной разлуки к ней явился дед-покойник и, как бывало прежде, позвал ее на свое поле, где рос лен, повел по знакомой тропке на самую пасеку.

2

Для этой мотолянки события в ее родном местечке как-будто остановились на том трагическом моменте, когда земля вдруг сорвалась со своих основ, изменила вековечное свое положение, ушла из-под ног у людей, не оставляя уже ни Мани, ни ее родне ничего ни для настоящего дня, ни для будущего. Тогда все-все в бурном потоке неслось куда-то в прошлое.

Девчурка между тем помнила свою землю, свою потерянную в водовороте войны Атлантиду и теперь восстанавливала в памяти наиболее яркие картины жизни. Внутренним чувством она анализировала местечковый быт, взаимоотношения с соседями и, переживая все это по-новому, старалась тут же их забыть, поскольку душу охватывал ужас, как тогда... И через это уже недоброе приобретение она соединяла свою судьбу с судьбой родной земли и невольно обращалась к ней своей мыслью.

Дед Петро на веки вечные обосновался там, в сырой земле, и от того, наверное, усиливались ее скорбь и отчаяние. Она смотрела на жизнь глазами своего деда. Как этому не удивляться, но это было именно так. Одной жизнью жили... В конце концов, их глазами земля-матушка смотрела на себя, ибо в этих их задумчивых, добрых, все понимающих глазах было осознание себя и земли как единого целого.

Она и он, внучка и дед — как начало и конец, — помнили многое из того, что в свое время им попадалось на глаза. Земля же помнила все, что творилось с ней и с людьми; в ее памяти отпечатывалась каждая капля энергии, особенно если та энергия что-то значила, если создавала и творила, если сдвигала, трогала с места что-либо.

Местечковец, земляк Петро Романович или, как его еще звали, — Писарчук, читал книги и понимал их пользу в накоплении знаний. Одновременно он осознавал, что человеку не все дано в постижении мира и один проникает в тайны глубже, уясняет больше, другой — меньше. Кто-то же наделяет людей способностями, но не в одинаковой мере.

Петро Романович догадывался о предопределенности жизни, о существовании некоего плана или карты событий, которую не иначе как сам Всевышний держит в своих руках. Молясь в церкви и дома, он просил Бога о милости дать его сердцу и разуму силы, чтобы постичь суть вещей глубже, дойти до первопричины. «Прости мне, Господи, если в этом мой грех», — говорил он и пристально вглядывался в окружающий мир.

Да, земля глядела на себя глазами Писарчуков, глазами мотольцев, а они — народ дотошный, пытливый, сметливый. Большой удачей для себя считают то, что еще во времена одержимого средневековья, где-то около 1518 года, их заметила самая выдающаяся женщина в стране Бона Сфорца, которая славилась своей красотой, обходительностью и умом. Великий князь Великого Княжества Литовского и король Польши Жигимонт передал ей, любимой, ей, милой своей, пинские и туровские земли, понятно, вместе с Мотолем, шевелившимся в то время в 20 верстах севернее Янова.

Что знал об этом ее дед Петро Романович?

А он знал, наверное, что в имени пана Константина Скирмунта, того самого пана, который некоторое время работал министром иностранных дел Польши и послом Польши в Лондоне, хранились два чрезвычайно ярких и важных документа. Пан Скирмунт изредка вытаскивал их из архива, чтобы похвастаться перед тем или иным гостем, однако же однажды вытащил и показал дивные манускрипты хозяину сохи и косы Петру Романовичу, который приехал к нему в имение, чтобы вернуть прочитанные им книги и попросить новые. Впрочем, дед Петро тоже имел библиотеку, только же ее не сравнить было с панской, где много чего было редкого, особенно по природоведению и истории.

В одном документе декларировались права на вольность, которыми «Господарь* Великого Княжества Литовского» наделял мотольцев. Согласно этому документу, Мотоль принадлежал непосредственно великому князю, имел свое самоуправление и панщины не отработывал, выплачивая лишь налог господарю. Таким образом, жители Мотоля приобретали

* Хозяин земли, своего угла, княжества (бел.).

определенную независимость, поскольку освобождались от феодальных повинностей, от власти воевод и старост, по сути — от крепостного права, державшего в оковах окрестные деревни. С тех времен, заимев столько чести, здешние местичи перестали даже крестьянами себя называть.

Магдебургское право, которым по протекции королевы Боны был наделен Мотоль, способствовало развитию в местечке ремесленничества и обмена товарами, ожила, как никогда, ярмарка. Люди как-будто соревновались между собой в умении трудиться, жать, прясть, ткать, выделывать кожу, класть печи, строить что хочешь, быстро и хорошо, да еще и петь свои песни.

Во втором манускрипте была засвидетельствована поездка королевы Боны в Литву (Беларусь). Очевидно, ездила она, руководствуясь не столько личным, сколько высшим государственным интересом. В Мотоле она подарила православной церкви иконы: Матерь Божья и Рождество Христово.

По дороге назад, в Варшаву, высокая пани останавливалась ночевать в мотольской корчме, делая честь местичам. Наверное, и потом, путешествуя по восточным землям, где жили белорусы, она заезжала в Мотоль — дороги ж позволяли, да и местечко ее привлекало, удивляло мастерством местичей, импонировало даже внешним видом люда. В то время мотольцы обувались не в постолы*, как окрестные селяне, а в сапоги и ботинки, и это еще больше придавало им гонору, достоинства. Согласно тому же документу, королева Бона поселила здесь, среди местичей, несколько семей своих соотечественников из Италии. Возможно, отсюда и выводятся фамилии Палто, Кульбеда, Шиколай и другие, похожих нигде в окрестных деревнях больше не услышишь. А вообще все фамилии мотольского люда оканчиваются на «ич»: Данилевич, Мацукевич, Михович, Райкевич, Стасевич, Жихович, Романович... Исключения редки.

В историю страны госпожа Бона Сфорца вошла прежде всего как опекунша великокняжеской казны, в которую она передала даже свой гардероб (конкретно: 28 платьев из гризета-парчи и 18 из бархата, 96 чепчиков, усыпанных золотыми позументами и драгоценными камнями)

Через суд она отобрала у магнатов и передала также в казну земли, незаконно присвоенные ими. По ее инициативе в Великом Княжестве Литовском были проведены земельные реформы, получившие название «Волочная помера» и «Устава на волоки».

Только же добрую славу свою на этой земле Бона Сфорца перечеркнула одним поступком. Когда ее сын Сигизмунд Август пошел против ее воли и втайне от королевского двора повенчался с красавицей литвинкой из Несвижа Барбарой Радзивилл, она затаила в сердце большую обиду. Молва доносит, что ее же заботами отравлена и невестка Барбара, дух ко-

* Лапти (бел.).

торой вскоре переселился из краковских королевских дворцов в Несвиж. Призрак Барбары — Черной панны Несвижа — и поныне волнует воображение потомков.

К тому же, после смерти короля-мужа, в скорби житейской и будучи одержима чисто женским коварством, пани Бона Сфорца вывезла из Великого Княжества Литовского в Италию более ста подвод драгоценных вещей, в том числе сорок восемь возов, запряженных шестерками лошадей, с золотом, серебром, хрусталем, фарфором...

Как примету и след тех далеких времен, когда почти сказочная королевская дама правила здешними землями и наворачивалась в Мотоль, рыночная площадь долгое время сохраняла название: Пляц королевы Боны. И еще до недавних времен учитель, начиная первый урок в первом классе мотольской общеобразовательной школы, демонстрировал ученикам Грамоту о наделении Мотоля магдебургским правом, рассказывал им про королеву Бону и тут же — про честь, славу и острый ум своих предков.

3

А время тянуло за собой череду событий, точнее, оно шагало событиями, и человек стремился всегда то ли уклониться от них, если они несли ему что-то угрожающее, то ли использовать их ход на свои нужды и таким образом внести в житейскую крутоверть свой след.

В дальнейшей мирской жизни Мотоля все более заметную роль играл Манин отец — Борис Романович, сын Петра и Аксиньи, их первенец.

Борис рос сметливым и крепким парнем, правда, той извечной притягательной силы и власти, которую земля-матушка имела над Петром, его отцом, он почему-то не изведал; земля не занимала никакого места в сердце и мыслях молодого человека, глядевшего поверх голов своих местечковцев. Однако же и ему время от времени, особенно когда ходил кавалером, приходилось помогать родителям управляться с хозяйством. Пахал, сеял... Свой долг перед родителями исполнял исправно, как и младший брат Павлюк — этакий петушок, горячий, задиристый. Одним словом — братья, хотя замеса были неодинакового.

В их раннем возрасте в жизнь семьи вошло лихолетье. Извечный крестьянский лад и ритм в семье, а точнее, в мотольской усадьбе Романовичей, сначала был нарушен войной, получившей название Первой мировой, а потом — эвакуацией в глубь России. Сыновья Петра и Аксиньи, понятное дело, не пасли коров, не топтали голыми пятками пашни и не получили полноценного крестьянского воспитания.

Писарчуки — Романовичи вернулись в Мотоль только в 1922 году, когда Западная Беларусь была уже под Польшей.

Их семья была отнюдь не нищенской. Петро Романович в свое время служил в царской армии и за службу получал золотом. Во время событий 1917 года и Гражданской войны работал на мелких промыслах где-то в Нижнем Поволжье, о чем более точных сведений у потомков не сохранилось. Семья располагала средствами, старший сын Борис учился в гимназии. За ним последовал и младший.

Именно в России, несмотря на свои молодые годы, Борис воспринял идеи большевиков и стал сторонником социализма. Переезд семьи на родину из Поволжья не столько радовал, сколько печалил парня. Он жалел гимназию, реорганизованную потом в школу, и неоднократно пенял родителям за то, что не позволили ему завершить учебу.

В Мотоле же вчерашний гимназист нашел себе единомышленников, среди которых особенной пылкостью выделялись бывшие солдаты, фронтовики, в их числе и Петро Минюк, несший службу комиссара спецотряда Красной Армии. Вместе создали коммунистическую суполку (круг людей, сообщество), в которой Борис исполнял обязанности казначея. Их свободное объединение формально входило в Белорусскую крестьянско-рабочую громаду, на деле — партию, которая в то время являлась крышей для многих подобных сообществ. Люди Минюка — Бориса искали связей с подпольными группами окрестных деревень и дальше — в Янове, Пинске... Ими руководило желание выработать единую тактику противодействия польским властям с целью добиться от них воссоединения Западной Беларуси с Восточной, коммунистической.

Народу, зажатому между Россией и Польшей, ближе к двадцатым годам, должно быть, сами планеты предопределили создать целостное и суверенное государство, а вышло наоборот. И мир мог лишь посочувствовать белорусам по этому поводу.

У местных патриотических сил несомненно поднял дух II съезд Коммунистической партии Польши, который состоялся осенью 1923 года. Съезд признал права белорусов (ровно как и украинцев) на выход из-под власти польского колониального режима. К чести поляков съезд благословил воссоединение соседских национальных земель, разорванных вследствие войн. Тогда же была создана Коммунистическая партия Западной Беларуси. Таким образом польские коммунисты бросили вызов своим самоуправным панам-завоевателям, жаждущим великой державы.

Борису это не могло не лечь на душу. Это прибавляло что-то ответственное к делу, которым он добровольно занимался в коммунистической суполке, идейно, казалось, сплоченной и дружной.

Коммунисты пытались справедливо и честно решить национальный вопрос и избавить белорусов от гнета польских панов, затем они декларировали еще немало такого, на что прямо откликнулась по весям измученная крестьянская душа, и в ней загорался живой огонек.

Борис видел, как меняется выражение лица у селян в Мотоле и окрестностях, когда Минюк или кто-либо другой из коммунистической суполки читал им листовку «Долой оккупантов-грабителей!», и, хоть листок был отпечатан далеко — в самом городе Вильне, — его содержание брало каждого за живое, потому что в Кресах Восточных люди сплошь жили одинаково и за хлеб почитали мякину. Правда, если говорить честно — мотольцев немного выручало ремесленничество. Однако и это не всем грело душу.

*Пятый год стонет наш край. Пятый год нанятые панамы
опричники насилуют, грабят трудовой народ.*

— Продай все, что имеешь!

*Разве, действительно, нам добровольно отдать свою ко-
рову, лошадь и весь свой нищенский скарб, отречься от своего
хозяйства и, надев суму, идти на панов, бить их, жечь их, ис-
тязать их?*

*А налоги тем временем сыплются и сыплются, как град на
голову, день за днем увеличиваются, и конца-края не видать.*

*Беднейшие крестьяне и работники, а вместе с ними и серед-
няки все больше и больше убеждаются, что нет иного выхода как
только решительная, безжалостная борьба с оккупантами.*

*Но как ее вести, как защищаться от темной тучи граби-
телей?*

*И вот начался стихийный бойкот налогов. Целые деревни
и гмины* перестали платить!*

— Не можем платить, не будем платить, не хотим платить!

*— Потому что даже если бы и «хотели», так не с чего**.*

В то же время особенным вниманием у подневольных крестьян Кресов Восточных пользовались рассказы, легенды и байки про деятельность Советов, про экономическую и культурную политику, что звалась на той стороне нэпом. Мотоляне нередко получали важную информацию почти из первых уст — от своих ходоков в советскую Беларусь. Их человек Федор Филинович, например, несколько раз переходил польско-советскую границу и приносил нужную литературу. То же делали Ян Мацукевич и другие.

Из официальных источников следовало, что при Советах крестьяне увеличили наделы на четверть и что середняки, которым принадлежало до шестидесяти процентов ферм и около семидесяти процентов пахотной земли, обрастали домашней утварью, приобретенным богатством. Число их множилось, и теперь они составляли основную силу в сельскохозяйственном производстве. Облагали их налогами мягко, в отличие от польского

* Волости (пол.).

** Здесь и дальше по книге курсивом выделены аутентичные тексты.

государства, где выплачивать приходилось чуть ли не за каждое куриное яйцо. Все указывало на то, что Советы сознательно и умело стимулировали труд крестьян.

Следует отметить: в этих сообщениях не было обмана. Белорусское правительство молодой советской республики искренне заботилось о крестьянах, которые в количественном составе населения были на первом месте. Товарищам Червякову, Адамовичу и Голодеду, стоявшим у истоков национальной жизни, столь манящей, хоть и призрачной, свойственны были рассудительность и мудрость, душевный подъем и самостоятельность в действиях, к чему они и стремились. Не случайно же их соратник Дмитрий Прищепов работал народным комиссаром земледелия, он на деле отстаивал и проводил в жизнь дух реформ Столыпина и потому притормаживал создание крупных совместных хозяйств — совхозов, колхозов, земледельческих поселков, коммун, где земля и орудия труда обезличивались, допускал создание небольших артелей, например, из пяти хуторов, и ставил в пример им зажиточные крестьянские хозяйства, которые политики вскоре станут называть кулацкими. В секретном письме к всем заведующим окружных земельных отделов он писал: *«В ваших округах есть случаи насильственного навязывания крестьянам форм землепользования и запрета селиться на хуторах и землях, переданных им, — на отрубках. Не меняя в целом нашей политики в хозяйствовании, Наркомзем предлагает не чинить также никаких препятствий и при выборе хуторов и отрубков. Одновременно категорически запрещается организовывать крупные поселки с землей более 200 десятин, которые в наших условиях никакого хозяйственного эффекта не дают».*

Справедливо допустить, что только благодаря этому хозяйственному курсу и возросло производство: в 1925–1926 годах оно превысило довоенный уровень уже больше чем на 12 процентов. Народ выходил из бедности. Александр Червяков приговаривал тем временем: «Богатей, селянин! Добывай больше богатства для себя и советского рабоче-крестьянского государства!»

Вот так, познав душевный подъем, белорусы трудились. Вот так они благоденствовали там, на советских тучных нивах, вызывая зависть у западных своих сородичей, которым жить сподобилось под ярмом панской Польши. И так старались они до первой сталинской пятилетки, пока не закутили, мутя белый свет, вихри массовой коллективизации, а за ними и отражение в кривом большевистском зеркале деятельности руководителей республики.

Не зная наверняка, что там дальше будет, ходоки помимо хозяйственных успехов сообщали: в столице Беларуси — Менске* и других городах создавались национальные учреждения культуры, вместе с белорусскими,

* До 29 июля 1939 года г. Минск назывался Менском.

говорили, работают польские и еврейские школы. Учатся также и взрослые. Словом, очевидными становились как свобода в труде, демократия, так и национальное культурное возрождение.

Разумеется, все это вместе будило воображение, воспламеняло эмоции, объединяло разом сознательных сторонников национальной освободительной идеи и коммунистического движения, звало их на митинги, демонстрации, вело нередко и дальше — в тюрьмы, на виселицы.

Однако о том, что тогда носил в своей душе Борис Романович, нельзя было сказать однозначно, дескать, юношеская революционная эйфория, свойственная его соратникам по коммунистической сундулке.

У Бориса были политические, с позволения сказать, оппоненты, причем непосредственно в семье. Может, потому он чаще, чем кто-либо из членов коммунистического кружка, копался в сомнениях своих и тех негативных по обыкновению суждениях, которые высказывались его отцом; тот не испытывал никакой приязни к большевикам. Да и мать Аксинья — тоже.

Петро Писарчук вернулся из России ни белым, ни красным, он вообще старался держаться подальше от политики. Правда, обособиться от нее, чертовки, никак не возможно было, потому как она чуть что сама встревала то в семейные, то в хозяйственные хлопоты.

Честно говоря, поначалу он, образованный человек, просто не доверял идее жадного коммунистического управления жизнью и, игнорируя новый строй, даже не отличал партийные комитеты, созданные большевиками, от Советов: ему казалось, что это — две стороны одной медали, попросту сплав мерзости с дикостью. И его мнение имело достаточно к тому оснований. Однако же после путешествия из Самары — через голодную Украину — домой начал шире и выразительнее представлять себе порядок вещей. Этому же потом поспособствовали и продолжительные беседы с мотольским священником Георгием Разделовским — батюшка имел родню в Украине, ездил туда и был свидетелем главных событий, касавшихся Гражданской войны и (в меньшей степени) Крестьянской.

Все дело в том, что большевики в самом начале государственного переворота, устроенного ими в октябре 1917 года в Петрограде, декларировали передачу земли крестьянам, а власти — Советам народных депутатов. Поэтому их лозунги одинаково привлекали крестьян и рабочих, и была в том сила, ого какая! Однако же Советы были созданы в Екатеринославской губернии, в селе Гуляй-Поле, еще до октябрьского переворота, и там же 25 сентября 1917 года председатель Гуляй-польского Совета рабочих и крестьянских депутатов, революционер-анархист, бывший узник царских тюрем Нестор Махно подписал декрет о национализации всей земли в повете и распределении ее между крестьянами. Перекроили землю тихо, мирно, без крови. Выполнение декрета принесло славу Махно. Вот только революционные завоевания надо было защищать,

и он, этот тридцатилетний человек аскетично-монашеского кроя, чернявый, не то чтоб красавец, возглавляет одновременно и Комитет спасения революции. Обрел широкую популярность, революционный авторитет Махно стал безупречным не только в Гуляй-Поле, но и вообще на юге Украины, к нему потянулись крестьяне, матросы с потопленных кораблей, бывшие офицеры... Тогда уже армейским отрядом в сорок тысяч человек он внезапно обрушился на немецкие посты и формирования, сокрушил их. А у славы быстрые крылья, и вскоре из Киева, чтобы присоединиться к Махно, вышел отряд анархистов.

В декабре следующего 1918 года армия Батьки Махно захватила город Екатеринослав и в дальнейшем стала чуть ли не основной силой, сдерживавшей Врангеля и уравнивающей положение на Южном фронте.

— Богу было угодно, — рассказывал Писарчуку священник Разделовский, — чтобы Нестор Махно был наделен выдающимися качествами атамана, воина и имел острое политическое чутье. Он сразу уловил кощунство, обман, фальшь в образе мыслей и деяниях большевиков. Поэтому, враждуя с немцами, петлюровцами, наконец — с Врангелем, Махно считал большевиков сущими вредителями рабоче-крестьянской революции. Именно поэтому он всячески огораживал освобожденные им территории от красных, от их глазастых посланцев — комиссаров, чекистов, как и от грабительских продотрядов. Представьте себе, как все это кололо в нос шельме Троцкому, командующему фронтом, который видел в беспартийных Советах и их заступнике — атамане Махно — угрозу большевистскому режиму.

Петро Писарчук был взволнован тем, что услышал, его глаза загорелись одержимостью.

— Не предназначение ли сверху, батюшка, — эта война крестьян? Выходит, однако, что атаман Махно не исключительный дурак и анархист, не бандит с большой дороги, каким его расписывали в российских газетах. Он защищал интересы крестьян и в этом был жесток и последователен. Я правильно понимаю?

— Так, браток Петро. Те люди, которые стояли рука об руку с Махно и много чего знали, которых я, кстати, причащал и исповедовал, припоминали мне, что он, Нестор Махно, как на духу, открыто, бескомпромиссно, отчаянно писал в телеграммах на адрес Троцкого в Москву: дескать, заявляю вам, что мой фронт остается неизменно преданным рабоче-крестьянской революции — только ей, а не всяким институтам да учреждениям насилия, которые олицетворяют ваши комиссары либо чрезвычайные комиссии, «тройки», сплошь творящие издевательства.

Интерес Писарчука к личности Махно и связанным с его деятельностью эпизодам войны не уменьшался, и потирая руки от удовольствия, он заметил:

— Отче, видит Бог, если бы мне случилось быть там и пришлось выбирать, с кем воевать, я пошел бы за таким предводителем! Я отстаивал бы такую советскую власть!

— Вот как?.. Однако же бедолага Петро не стал вояром! Стоит ли нам жалеть об этом? В Библии же сказано: «...и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Не думал я, честно говоря, что тебя, правоверного христианина, земледельца, легко ввести в искушение. Вижу, есть, есть и в твоей душе порох!

— Есть... может, какая крупица. Я — земляр. Я прирос к земле. Как и каждый, кто вкладывает душу в труд, люблю справедливость. Не мне говорить вам, что справедливость устанавливает мир в душе. А что до искушения, так оно же не дьявольское, простите.

— Так ведь это я сказал, для понту, как говорят в Житомире.

— Жаль, что мне своими глазами не пришлось повидать Нестора Махно...

— Со слов соратников он напоминал скорее не полководца, а маленького монастырского служку, который добровольно заморил себя постами. Сухой, как рожон.

— Однако ж такие люди нередко наделены большой силой духа.

— Так. Выносливый. Твердый, что то полено. Бог наделил его необыкновенными глазами. Атаман Махно имел цепкий и острый взгляд, который не менялся ни тогда, когда он смеялся, ни когда отдавал самые жестокие приказы. Глаза у него существовали как бы сами по себе. В них и отражались его характер, личность в целом. Совет его армии сформулировал свое политическое кредо, согласно которому в Коммунистической партии и во всем московском правительстве сидят одни мошенники, контрреволюционеры, иуды; они захватили власть в России обманом и по ложному пути ведут революцию к гибели.

— А если это и правда так было? Что вы думаете, отец Георгий?

— Я не исключаю. — Разделовский сделал паузу. — Жажда власти губит человеческие души.

— Так что же дальше?..

— При взятии красными Перекопа войска атамана Махно были брошены на самый трудный участок; они в лоб брали Турецкий вал и понесли наибольшие потери. Осталось пять тысяч героев штурма, и их с тыла подло и жестоко расстреляли. По приказу того же Троцкого, соратника Ленина. Махно потерял ногу, но спасся. После этого, избегая красной голгофы, он по-новому собрал войска и начал рейды мести по Украине и России. Теперь уже без всякой жалости расправлялся с комиссарами, чекистами, руководящими партийными и советскими работниками. Как злой демон, он оставлял после себя кровавый след. Уже летом 1921 года, командуя остатками своей армии, Махно сумел выскользнуть из западни и сбежать за границу, как будто в Румынию... Так я слышал... Поговаривали,

в 22-м году его видели в Польше, откуда будто бы он подался в Париж. Не исключено, что и теперь там живет.

Петро Писарчук долго молчал, впечатленный драматическим и трагическим концом этой революционной, с позволения сказать, эпопеи.

— А разве ж этого заслуживал заступник крестьян? — не то произнес, не то простонал он и обратился к Богу: — Боже-Боже, чьи пути и чью судьбу испытываешь?!

— А сие тайна велика есть! — по-библейски ответил Разделовский и, спустя какое-то время, продолжал: — Я, братка Петро, не поверил тому рассказу, который принес мне однажды монах — не монах, дворянин и думский деятель Георгий Шачков. Его мытарства начались с Петербурга. После февральской революции, грустя по царю, отрешемуся от престола, он пешком вышел из столицы и подался в Волынцево Курской губернии. Произошел октябрьский переворот, оставаться в своем имении было опасно. Шачков попрощался со столетними дубами и липами в своем любимом парке и разными способами передвижения достиг города Киева, пришел к родной сестре. Что пережил там, Боже милостивый! — Батюшка покачал косматой своей головой. — Большевики бомбили Киев на протяжении одиннадцати дней. Потом бегство петлюровцев, оборонявших город, большевистские экзекуции, расстрел тысяч людей, повальный грабеж... И снова Петлюра вместе с немцами, за ними — власть гетмана Скоропадского, при котором народ отдохнул малость, тогда — уже по новому заходу — петлюровцы... Лукьяновская тюрьма для дворянина Шачкова, большевики, денкиинцы... С денкиинцами, наконец, отступает дальше на юг, стремясь в Одессу. Напуганный, усталый, измученный душой и телом, этот «недобитый буржуй», когда пришел ко мне, проговаривал полушепотом то ли Богу, то ли мне: «Большевизм, заполонивший Россию, есть не что иное, как борьба с Богом и христианством...» Вот как.

— И неудивительно, отче Георгий, ведь все на то указывает. — Писарчуку показалось, что священник Разделовский уже закончил рассказ про бывальщину, не такую и далекую, чтобы не брало за сердце, и приподнялся в кресле, намереваясь попрощаться, но тот продолжал:

— Я поинтересовался у Шачкова, до крайности избитого жизнью человека, долго ли еще большевики с народом в рожки будут ходить?

— И что же он ответил?

— «Мордованию русского народа конца-края не предвидится». При этом Шачков вытащил из кармана скомканные бумажки: читайте, мол... Там была речь Лейбы Давидовича Бронштейна-Троцкого где-то перед сборищем «своих». Прочитал я со странным чувством, как-будто у меня из-под ног поплыл куда-то вдаль реальный мир. Или, если я живу в реальном мире, то этого не может быть вообще! От избытка чувств мне хотелось плакать. И порой думаю: а было ли это наяву, или только приснилось?

— А что же в той речи так вас поразило, батюшка? — добивался сути Петро.

— Я перескажу... «Мы — а это «мы» не иначе принадлежит Троцкому — должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми. Если мы выиграем революцию, разрушим Россию, то путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния. А пока наши юноши в кожаных куртках — сыновья часовых дел мастеров из Одессы, Орши, Гомеля, Винницы — ого, как прекрасно умеют они ненавидеть и уничтожать все русское!» Тьфу, нечистая сила! — Батюшка Георгий перекрестился.

— А зачем, чтобы все так рушить?

— Троцкий как бы мстит России. Мы, говаривал он, на могильном камне России станем такой силой, перед которой весь мир упадет на колени. Потому и чинят террор часовых дел мастера, скрытые под масками. Я слышал мнение, что убийство Столыпина, как и расправа с царской семьей — дело их рук. Покушение на Ленина осуществлено ими дважды... Ленин им чем-то не угодил. Милее был тот — махровый космополит Троцкий, чаявший упразднить на земле все нации.

— Какой ужас! И вы все это в своей голове и сердце носите?

— Братка, я отлично понимаю душу русского Шачкова, его отчаяние. Не приведи Господи еще кому-нибудь изведать подобное лихо.

Так рассуждая и выверяя мысли, чувства друг друга, ни священник Георгий, ни Петро толком не знали, из каких человеческих помыслов, качеств, свойств или критериев исходить, если поверить, собственно, в изведенное и услышанное ими. Только же, согласно одной теперь отвергаемой версии, все, о чем они вели разговор, лежало очень близко к правде, а сама правда-матушка выглядела еще более впечатляющей. Мало того, что большинство соратников Ленина были евреи и сам он с ними — родня-полукровка. После октябрьского переворота интернационалист Владимир Ильич объединил под крышей Коммунистической партии (большевиков) заведомо националистические еврейские организации; в 1921 году, например, он втянул туда Еврейский союз (Бунд), против чего раньше решительно выступал Плеханов, а в 1922 году — не менее многогранный Поалей-Цион. Сионизм и большевизм с тех дат еще больше переплелись, и в революционной борьбе за власть верх брала уже не столько социал-демократия, сколько верх брал социал-сионизм.

Прошлое дает нам основания полагать, что не одна, а две революции шли рядом, создавая бесконечно бурлящий красный поток. Революция в перчатках, скрытая, потаенная, коварная, за которую молились продвинутые раввины в синагогах... Она несла на себе другую, ураганную, повсеместно пахнувшую потом и солдатскими портянками, порохом и кровью. И поскольку всем этим она сильно пахла, то ее не на шутку восхищали монументальные и красивые декларации, блестящие лозунги, воплотить

которые, казалось, было делом ближайших дней. Но так было поставлено и к тому шло, что даже Ульянов — Ленин чувствовал себя порой щепкой в широком бурливом потоке, мутном и кровавом, в который и сам он еще добавлял крови.

В 1919–1920 годах среди представителей отделов Международного еврейского союза распространялось секретное воззвание. Оно печаталось на языке идиш и было найдено в бумагах одного из убитых. Потом документ в переводе напечатала эстонская газета. Впрочем, по мнению некоторых позднейших знатоков и толкователей истории, эта бумажка фальшивая, поскольку названного в ней еврейского союза не существовало. Миф? А все — по логике развивавшихся событий.

Сыны Израиля! Час нашей окончательной победы близок. Мы стоим накануне власти над миром. То, о чем мы могли только мечтать, теперь воплощается в реальность. Еще недавно слабые и беспомощные, теперь, благодаря всеобщему крушению мира, мы гордо поднимем голову.

.....

Авторитет и веру чужой нам религии мы поставили под жесткую критику и насмешки при помощи удачной пропаганды и развенчания. Мы низринули чужие святыни, мы пошатнули в народах и государствах их культуру и традиции. Мы сделали все, чтобы подчинить русский народ еврейской силе и принудить его наконец встать перед нами на колени. Мы почти достигли всего этого.

Россия уничтожена до основания. Она находится под нашим владычеством. Однако ни на минуту не забывайте, что мы должны быть осторожными и молчаливыми.

Священная забота о нашей безопасности не допускает у нас ни сочувствия, ни милосердия. Наконец-то мы увидели нищество и слезы русского народа! Забрав его имущество и золото, мы превратим этот народ в никчемного раба.

Бронштейн, Апфельбаум, Розенфельд, Штарнберг... все они, как и многие другие, являются преданными сыновьями Израиля. Наши силы в России безграничны. В городах, в комиссариатах, продуктовых комиссиях, домовых комитетах — сплошь теперь представители нашего народа, и они играют первейшую роль. Но не опьяняйтесь победой! Будьте осторожны! Никто не может защитить нас, кроме нас самих!

Центральный комитет Петроградского отдела Международного еврейского союза.

У наследников тех псевдореволюционных, а порой и по-настоящему революционных событий останется версия, согласно которой больше-

вистское течение, увлекшись блестящими лозунгами и социальными экспериментами, попытается оторваться от своей подбрюшины, которой предусматривалось нечто иное, отличное от провозглашенной программы большевиков. Вот тогда Ленин и станет жертвой террористической отравленной пули. Правда, все это потомки осознают потом, когда минут долгие десятилетия, крутые и кровавые, и начнет рассеиваться розовый коммунистический туман.

...Петро Писарчук возвращался от священника домой, отягощенный новыми беспокойными мыслями и чувствами, а преобладало все-таки удовлетворение, что он покинул, наконец, Россию и как-никак теперь вольный козак. Пусть и мерзко, что при Пилсудском Кресы Восточные поляки считают своей колонией, что белорусов тут зажимают и пытаются сжить со свету, однако, если там, в России, лихо, то тут — меньше, и за то следует благодарить Бога.

Как всегда, после встречи и простой, едва ли не дружеской беседы с отцом Георгием Петро ощущал свою душу и разум открытыми перед людьми и Богом, просветленными. Он начинал куда больше понимать в политике, в событиях, которые имели здесь место и которые будущее еще готовило на земле славян. Конечно, его суждения не мог не учитывать и сын Борис, коммунист.

4

Может показаться невероятным, но на формирование мировосприятия Бориса большое влияние, помимо родителей, оказал и помещик Роман Скирмунт, меценат, чудака и, почитай, неисправимый романтик, живший поблизости, в деревне Поречье.

О Скирмунтах в этом уголке Беларуси сама земля-матушка повествует человеку, как только он на свет появится. Ведь род Скирмунтов берет начало от истоков белорусского государства — Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского — и своими корнями уходит куда-то аж к явтягам и лютичам. Гербом древнейшего рода был развесистый дуб.

А теперь ветви этого древа остались в Молодове и Поречье. Те и эти Скирмунты меж собой — двоюродные братья и сестры.

Дед Романа Скирмунта Александр в свое время стал крупным магнатом. Он основал в 1836 году в имении Поречье над Ясельдой редкую для тогдашней феодальной России фабрику, на которой производили сукно. Через два-три десятилетия фабрикант Скирмунт построил еще и сахарный завод. Имел он также сыроварню, паровую мельницу... Таким образом, обычная деревня Поречье превратилась в промышленный центр, становясь примером в развитии капитализма на этой благословенной славянской земле. Писарчуков сын Борис, к слову, хорошо знал, что такие богатые

и известные личности как Александр Скирмунт либо его сын Александр, а потом и внук Роман, как другие его сыновья и внуки, в советской России не в почете и считались первейшими врагами коммунизма. Там буржуа как класс уже ликвидированы. Не только они, даже вся царская семья полегла. Борис знал об этом. Однако в душе он не ощущал ни жалости, ни боли к тем жертвам. Будто сами себя они осудили на смерть, а деловой и быстрый ход событий не оставлял им никакого иного выхода. Такие жестокие условия предопределяла людям коммунистическая идеология, к которой он также был склонен.

Однако дед Романа — Александр Симонович — умер своей смертью, он умер как раз в том году, когда родился Ленин. Тогда ему было 72 года. Оставил он после себя шесть сыновей и двух дочерей. Умирая, разделил между ними фортуна: Александру, отцу совсем еще маленького Романа, досталось имение Поречье, а Генрику, отцу Константина и Генрика младшего, — имение Молодово... Роман вышел в люди как раз на вершине славы пореченского суконного производства, однако изготовление товара юношу не так увлекало, как политическая деятельность, да и после 1915 года, когда от фабрики остались одни лишь разваленные войной стены, Роман больше не видел возможности ее восстановить. И тут справедливо будет отметить, что известность в своем крае, в обществе здешних людей, а он любил называть себя тутэйшим*, роман Скирмунт приобрел уже благодаря не столько унаследованию пореченского капитала, сколько участию в общественной и политической жизни России и Польши. Разумеется, и Беларуси — пребывавшей то в составе Польши, то в составе России. В Мотоле же его знали как депутата 1-й Государственной Думы России.

Еще со студенческих лет в Петербурге он искал дружбы у национально сознательных белорусов, а вскоре и сам собрал вокруг себя патриотов своей земли. Они основали в Менске весной 1917 года Белорусский национальный комитет, ставший первой ласточкой на пути самоопределения белорусов. Скирмунт собрал и провел летом того же года крестьянский съезд. Так или иначе он закладывал фундамент для Первого Всебелорусского съезда (называемого также конгрессом), созданного по национальным вопросам в декабре 1917 года.

Многое из упомянутого оставалось в памяти местного мотольского люда и, конечно же, в памяти Бориса, просветленной и пока еще не обветшавшей от времени. Изредка по тому или иному поводу история ворошилась местичами, различными дотошными людьми, преимущественно евреями, вызывая у них неоднозначные суждения и споры, которые строились на разной степени политической осведомленности. Ведь при всех своих политических взлетах и неудачах, может, даже падениях, Роман Скирмунт оставался их земляком и соседом, поэтому в высказываниях о нем не ску-

* Здешним, местным (бел.).

пились на добрые слова, мотольскому люду интересным представлялось и то, что со своими слугами и крестьянами известный в мире пан всегда разговаривал на белорусском языке, которого другие паны чурались.

...Накануне Спаса, оседлав коня, Борис Романович подался задворками на околицу и оттуда — на дорогу, что тонкой ниткой прошивала и лес, и деревню Молодово, вилась вдоль Ясельды, а потом через новый лесок выходила на Поречье. Будто бы нашему купцу-молодцу Борису возжелалось посмотреть в ближайших селах на лавки, поглядеть на товар, сравнить ассортимент и цены с мотольскими ценами. Потом между прочим отец просил Бориса навестить в Поречье перекупщика Клямку да поинтересоваться у него, на каких условиях он берет мед для вывоза на пинский рынок и дальше, в Польшу. У господаря Петра не было времени, чтобы ездить и изучать рынок, да и, по правде, не любил он торгашеских забот.

Конь под Борисом шел то размашистым шагом, то бежал трусцой, и мысли парня скакали, переноса его каждый раз на вечернее мотольское сборище. Там, в окружении бойких женихов и хорошунь-невест, молодая энергия била ключом. В припевках и песенках, с которыми девчата выступали, в танцах, слышались имитация скорби, кручины, а вместе с тем и целомудренное озорство. Борис пользовался вниманием мотоянок, и не лишь бы каким, поэтому многое, о чем они пели, казалось направленным прямо к его сердцу, трогало мелодичностью, искренностью:

Ой, плясала на току
Да на беленькому,
Выплакала черны очи
Да по миленькому.

От пристального внимания девчат его настроение невестилось и слегка кружило голову.

При подъезде к Поречью Бориса нагнала пролетка. Она выскочила резвой трусцой из рощи. Наш купец свернул с дороги и придержал своего гнедого, чтобы пропустить пролетку; сам он не слишком торопился, да и интересно было поглядеть, что за важная птица разъезжает в прибрежном просторе Ясельды на рессорном возку. Как глянул — по телу пролетя, ударила в лицо горячая волна: по всем приметам сидел на рессорах сам Роман Скирмунт. Да, это он, образованный и умный человек, хозяин имения и всех окружающих земель.

Рассказывали про него, что вот так неожиданно, только пешком, появился он однажды за спиной у мужика, который, забравшись в панскую рощу, стоял возле пня и палкой отбивал гриб-трутник для огнива. Пан внезапно схватил его за плечи, приподнял и швырнул в сторону:

— Прочь отсюда! Не пугай коз своим стуком.

Строгость владельца, однако, недолго смущала нашего парня-купца Бориса, наоборот, она придала ему веселой энергии.

— День добрый, паночку!

Пан приостановился.

— А почему это молодой человек так уставился на меня?

— Чудо же! Вижу ясновельможного пана, у которого мой отец как-то элиту ячменя покупал.

— А кто у тебя отец?

— Петро Писарчук по-уличному... Мотольский...

— А-а, это который вернулся из России? Вспоминаю, твой отец — селянин сведущий, цепкий. Он и теперь пчел разводит?

— Да.

— И успех имеет?

— Имеет... А вы, бают люди, сенатор, в Варшаве, политикой занимаетесь. Никак не ожидал встретить вас тутака.

— Действительно, в своем имении теперь редко бываю, к сожалению, — пан вздохнул. — А ты куда едешь?

— Невесту ищу, — ответил Борис как раз в тон пану.

— Так слазь с коня, садись рядом. Вместе поедем. Я же в холостяках тоже засиделся.

Борис знал, что Скирмунту уже около шестидесяти, но на вид он был моложавым, с острым и пытливым взглядом. Только же и на лице Бориса — та же пытливость. На любезное приглашение пана он не заставил себя долго ждать, соскочил с коня, подвел его к пролетке и зацепил поводок уздечки за дужку сзади, сел рядом. Тот дернул вожжи.

— Так как поживает издавна вольный мотольский люд на окраинах польских? Славит Бога?..

— Пан позволяет себе шутить? Э-эх... Страдает народ. Свободы мало, земли мало, денег мало. А налогов — в избытке. Пилсудский — узурпатор, даром что он из-под Вильни и, говорят, беларус.

— А знаешь: мой брат Костусь из Молодова... Диво, кто он? Выкшталцоны поляк?.. Министром у Пилсудского служит.

Борис не мог поддерживать слишком высокую тему беседы, поэтому повернул в свою сторону:

— Теперь много кто глядит на восток, где земли и всего больше. Большевики создали свободную республику. Вот и нам присоединиться бы к БССР!

— Тп-пру! — остановил пролетку помещик. — Шо за вздор ты несешь?

Пан по обыкновению «шокал».

— Чего брехать? На крови построена, на слезах замешана твоя новая республика! Хм, когда ты родился?

— В год, когда Россия воевала с Японией.

— Г-хм... Мальчишка! Правильней было бы сказать: большевики захватили свободную народную республику!.. Негодяи! Однако откуда тебе знать?..

— Отчего же, я знаю... При вашем, пане, участии была учреждена Беларуская Народная Республика — буржуазная, как писалось в советских газетах. Она для буржуев... небось. Она... — Борис стушевался, чувствуя что-то искусственное и несамостоятельное в своих суждениях.

— Буржуазная, говоришь?.. Однако же это не есть аргумент и не есть определение сути. Ложь! План у нас был иной. Правительство БНР во главе с Захарко и теперь действует в эмиграции. Оно единственное законное правительство Беларуси. Но! — снова дернул вожжи. — Поехали... Если на то, молодой человек, я должен тебе разъяснить, шо на момент октябрьского переворота на Беларуси жили в основном крестьяне и никаких коммунистов не было, более того, среди горожан преобладали не люмпены и опять же не белорусы, а те, кто сюда в поисках хлеба и чинов приволокся из России, много евреев. Город игнорировал наши национальные заботы. О национальном обычно заботится коренное население либо его интеллигенция, состоявшаяся, образованная, обогащенная знаниями мировой культуры. Глянь!..

Пан встрепенулся и натянул вожжи — лесную дорогу, не спеша ступая, переходил лось.

— О-о! И сколько в нем грации, как высоко держит голову! Настоящий хозяин в просторах над Ясельдой!

— Да, пане... — Борис не находил слов, чтобы выразить восхищение как зверем, которого раньше не видел, так и самим паном.

— Но... — бросил своему коню тот и продолжал прерванный разговор: — Так уж сложилось в нашей истории, шо коренное население не оказывает никакого влияния на политику. В то же время только оно, коренное, сохраняет национальные традиции и нуждается в своей защите. Первыми, слышишь, за беларусское дело взялись, если не говорить о петербургских кружках, — Беларуская социалистическая громада и газета «Наша ніва», где группировалась интеллигенция — ведь интеллигенция как субстанция или то, шо соединяет мозги и сердце народа. Сколько споров было... Шатались, плутали, делали просчеты. Чудо! Бились мы лоб в лоб — и те, кто психологически был привязан к российской, и те, кто к польской стороне. Очень боялись выпрямить спину. Самостоятельности боялись. От шо было! А знаешь, начиная с 1906 года, сколько раз я пытался создать беларускую демократическую партию? Тогда ее краёвой называли. Социалисты стояли в стороне. И каждый раз руководство партией перехватывали поляки. Нашей целью, пане-брате, как раз и было воскресить, вылепить по-настоящему народное независимое государство, которого нас давно лишили. По семнадцатому году и слепили. Пооткрывали много беларусских школ, нашли средства, чтобы открыть свой национальный университет. Здание заложили чин чином. Энтузиазм чувствовался в работе. И тогда уже не немцы, а большевики обрушились на нас, беззащитных, помятых, измученных войной. Жаль... Жаль, брате мой, без государства мы ничто. Государство защищает нацию,

заботится о развитии ее неординарной культуры, всего, шо есть человеческое. А большевики, — пан вздохнул, — большевики — за объединение пролетариев в стадо. Без государственных границ. Без извечного, культурного, достойного, возвышенного, шо делает из людей народ.

Он сделал паузу, прежде чем перейти к следующему моменту в своих рассуждениях. Борис внимательно слушал.

— Мы ж не Финляндия, шо где-то с краю России, сбоку припеку. А Финляндия между тем вырвала независимость! Мы в самом центре матушки Европы, в удобном для злодеев месте, потому и интерес у россиян к нам волчий. Потому и ездят на нашем хребте почем зря. Однако же в семнадцатом году мы проявили гордость, зашевелились. На нашей стороне был закон, была справедливость, которой требовала история. Нас в скором времени признали другие государства. Одно, братка, не хватило силы, шобы защититься от варваров этого обновленного века. Не сложилось. А теперь, пане мой, можешь ли ты мне сказать: шо в той нашей политически и культурно самостоятельной республике крестьянину жилось бы хуже, чем живет он за Советами? Не думал об этом?..

— Нет, светлый пане, ваши мысли для меня совсем внове. Честно говоря, я — из других.

Скирмунт внимательно посмотрел на него:

— Ты коммунист?

Бориса бросило в жар, румянец выступил на лице.

— Поздравляю! Не ожидал, однако, шо и ты с ними. Э-эй... Коммунизм — не шо иное, как психическая мистерия. Она заплонила Россию, и не только Россию. Большевики натравили рабочий класс на буржуев, а потом и на политическую оппозицию — так называемых белых. Войну против извечного образа жизни и духа народа назвали революцией. А какой же буржуй из зажиточного крестьянина или священника? Их тоже почти уничтожили. Вот я буржуй. По всем канонам! Так... Однако знаешь ли ты, шо мой дед, прежде чем стать капиталистом, долго учился в Европе, приобрел то, шо зовется европейской культурой, приобрел знания и опыт инженера, технолога. При этом он дорожил своей родиной, землей, домом. И невесту нашел не за морем, а здесь, неподалеку от Янова, в имении Вороцевичей. Имение принадлежало тогда инженеру-фортификатору Михаилу Орде. Дед женился на его дочери Гортензии, сестре Наполеона Орды. Слышал про такого?

— Слышал. Музыкант, художник...

— Художник, да еще какой! Любой народ гордился бы им, как и тем, шо он, путешествуя по стране, нашел, схватил, отразил. Искренней, чистой, как слеза, и благородной души был человек!

— Я знаю, где он похоронен. Однажды был там.

— Приятно слышать!.. О, это прирожденный патриот и демократ. И — демократ! Повторяю... Симпатизировал повстанцам в 1830–1831 го-

дах и в 1863–1864 годах. Содействовал им. Деду моему он приходился свояком и, по правде говоря, свояком не только по браку Александра с Гортензией. Нечто большее соединяло их. Наверное, величие и сила духа. — Помещик сделал паузу, чтобы найти конец ранее высказанной мысли. — Так вот, дед привез в Поречье вместе с техникой, станками, машинами интеллектуальный капитал, прежде всего — его, и открыл суконную фабрику. А по мысли марксистов единственное, чем Скимунт занимался, так это эксплуатировал рабочих. Упрощенный и вульгарный подход, молодой человек! Александр, сын Симона Скимунта, выступая организатором производства, создал рабочие места для селян, которых предварительно обучил. Кстати, Александр Скупевский, если хочешь знать, из крестьян. А он работал красильщиком, затем вырос в технолога и стал управлять всем предприятием! Примеров много... Скимунт как-никак дал государству лучшее в мире сукно. Скимунт, наконец, платил налоги и потому, можно сказать, постоянно делился прибылью с государством, укрепляя тогда российскую экономику. И рабочих не обижал, вместе с ними преобразовал завод в акционерное общество, где каждый получал долю от прибыли. Строил для рабочих дома, оплачивал квартиры. По сегодняшний день в Поречье работают бесплатные больница и народное училище... Без поддержки буржуа их не было бы.

Борис молчал, пристыженный и пораженный. Так поразило бы его, наверное, если бы пан Скимунт вдруг достал из-под сиденья пролетки и начал рвать толстую книгу, на которую коммунисты молятся, — «Капитал» Маркса. На широком и гладком лбу у Бориса выступили капельки пота. Свидетельствовали ли они об определенном повороте в человеческих представлениях, чувствах, прежних и нынешних, о том, что чувства его противоречили друг другу, скрещивались, ломались?.. Однако при этом он пытался оставаться спокойным.

— Пане Роман, то, о чем я спрошу, может прозвучать неуместно, — сказал он, — но откуда это вы и я — мы, здешние беларусы, взялись?

— О, видишь! — Помещик довольно улыбнулся, возле глаз собрались и вновь разгладились морщинки. — Какой ты любопытный... Если бы я был попом или раввином, ответил бы: от Бога пошли! Жиды так и отвечают: дескать, они от Бога... Вопрос непростой. Слово «русь» вообще-то древнескандинавского происхождения. Во времена викингов «русть, або рость» значило: гребец, путешественник, член морской дружины. Когда же наименование пускается в странствие, оно нередко утрачивает тот или иной звук, букву. Так и «русть» утратила «т» и превратилась в «русь». Тем временем колонии североевропейских гребцов основались в Дании и на острове Рюген, где в основном жили славяне. Датчане стали звать этот остров Русином. В самой Дании владычила Русь. Такая версия, в которую хочешь верь, хочешь не верь, но и более безупречной я пока что не знаю.

Похоже было, что Романа Скирмунта этот искренний интерес Бориса к названию страны не застал врасплох. В хорошем настроении пан рассказывал ему про Полабскую Русь — государство славян, в пятом — шестом веках располагавшееся на юг от Рюгена, на материке, в долине Лабы — Эльбы — и оттуда простиравшееся на восток, до самого Одера. Его столицей был Старогород, что у немцев теперь Ольденбургом называется. И, что показательно, говорил подобревший пан, к Полабской Руси относились также лужицкие сербы.

— А шо дальше?.. Мой дед Александр, когда учился в Германии, заинтересовался лужицкими сербами, у них главным местом был город Берлин... Они и теперь не перевелись. Деда поразило сходство языка лужицких сербов с мовой наших мужиков, беларусов, — свояки! Сербы... сорбы... сябры — слова, а значение одно. Где-то наши с ними пути-дороги перекрещивались, где-то была общая пуповина. А тута, — бросил рукой в сторону, — во времена Геродота хозяйничало кельтское племя невров. Невры оставили по себе память в названиях Клецк, Галацк, Оресса, Дрисса, Плисса, Уса, Навра, Неман, Нярис, — много следов. После невров наши пространства заняли племена вновь-таки славянского корня — дреговичи, кривичи, родимичи. Слышал? Вот только об их языке, чем он отличался от нашего, не скажу тебе, молодцу, поскольку сам не знаю. Жили тут также племена, которые в девятнадцатом веке стали зваться балтами — жмудь, аукштайты, латгалы, ятвяги, курши, земгалы, селы. Они в конце концов были вытеснены туда, откуда и пришли, либо растворились в местных племенах. Полной картины нет. А вот Полабская Русь, в частности, часть лужицких сербов, порусов, или прусов, двинулась сюда, в наши земли, поскольку на них с перенасыщенного населением запада начали давить германцы. Оседлые и миролюбивые местные племена сравнительно легко поддались влиянию гостей. В своем хозяйственном и культурном развитии те были мудрее их, да и что говорить — прусский король Миндовг привел с собой большую литву, это значит дружину — тридцать тысяч полабских рыцарей, закованных в латы. Сила!

— Вот диво было! — воскликнул Борис.

— Шо еще?.. До появления Миндовга путь сюда, в Полоцкое и Туровское княжества, на Берестейщину, Мозырь, Сураж, прокладывали из Пруссии воинственные князья Кернус, Мингайло, Рингольт — отец Миндовга, а также князь Скирмунт, от которого мой род.

— Что вы говорите?!

— Шо слышишь... Российский историк Соловьев, изучая летописи, отметил: в начале двенадцатого века зафиксировано около трех десятков налетов «литовцев» на Полоцкое княжество. Те налеты и кончились в итоге на Миндовге. На создании тут новой Руси, шо стала зваться Литвой. Мой дед называл полабских славян колонистами. Колонисты смешались с местными племенами и остатками балтов. Вот тебе мешанина племен, в которой

главную скрипку уже играли пришлые во главе с Миндовгом. Они и основали Великое Княжество Литовское и Русское со столицей в Новогрудке, потом — в Вильне. Представляешь?.. наших предков порой называют русами. Мы создали страну, сформировали народ, за который и сегодня никому не стыдно. А на восток от нас жили московиты... на юг тоже русы — на землях Украины или же Киевской Руси. Церковь у нас с ними была одна православная — русская. Только там уже другие исторические байки.

Борис слушал, раскрыв рот: как глубоко человек залез в прошлое! Аж дух захватывало. Не все просто укладывалось в голове.

— Российские земли заселяли тогда малоцивилизованные племена финско-тюркского происхождения. И они помалу поддались духовному и культурному влиянию славян, с которыми не однажды вели жестокие войны. На Московию положительное влияние оказали с Новгорода полабские славяне с известным князем Рюриком, а южнее мощное воздействие произвела на нее Киевская Русь, от которой московиты и перехватили название — Русь. Впрочем, в России на все это напущено много тумана, — пояснял пан, — нехай его перун растрясет! Императрица Екатерина Вторая поставила перед своими учеными задачу: переделать на бумаге прошлое в пользу России. Жадная империя, действуя таким образом, фальсифицировала историю и отсекала от нас нашу память, она заменила в XIX веке название Литва на «Белоруссия», а потом вообще — на Северо-Западный край.

— А что, пане Роман, и Литва славянским племенем была?

— Да нет, Борис — Петров сын, как ни удивительно, в истории все перепуталось... А ты, наверное, про современную Литву?..

— Да.

— На те даты, когда мой далекий предок ходил на восток, Лютвой или Литвой называли полабское воинственное племя лютичей, которое граничило с лужицкими сербами. Есть мнение, шо та Литва переползла по побережью Балтийского моря в Пруссию и попала под власть Миндовга. Поэтому Миндовг, колонизируя дальше вместе с Литвой восточные земли, и назвал государство Великим Княжеством Литовским и Русским, имея в виду раздольную Полабскую Русь. К ВКЛ потом добавилось еще и слово «Жемойтское», это когда в 1411 году Жемойтию, о которой ты спросил, присоединили к Великому Княжеству... Только же в 1918 году она пригребла себе потерянное нами название «Литва».

— Спасибо... Как много вы мне объяснили. По опыту, знаниям светлейший пан, верно, заткнул бы за пояс профессора!

— Так... Достоин сожаления, однако в польской и российской науках мало кого из профессоров это интересует.

— И все же, почему называли наш народ этим словом — беларусы?

— Любишь ты, вольный казак, до сути доходить! — Одобрение и укор слышались одновременно в голосе пана. — Не знаю — почему, но Белой Русью и прежде назывались земли восточной части нашей страны,

не занятые татаро-монголами. Известно и то, шо в Московии в седые века было слово «белорусец». Так звали там литвинов и, возможно, казаков, захваченных в плен, когда те становились верноподданными. Вот, оттолкнувшись оттуда, уже во времена Пушкина, Гоголя, верно, и дали нам название. Или нет?..

Пролетка в скором времени привезла их к имению — величавому дворцу в два этажа. При имении был роскошный парк. Скирмунт передал пролетку в руки прислуги и предложил гостю небольшую прогулку по ухоженному парку.

— Я вынужден закончить нашу беседу. Мне понятны настроения и устремления всех беларусов Кресов Восточных, их мечты о воссоединении разорванных частей страны. Когда по живому разодрана страна, кому не больно? Однако же я буржуй, и мое место, прости, пане-брате, под лавкой — там, шоб баять байки и грезить историей. Таково мое новое положение, хоть меня и считают политиком. Теперь я одновременно — дома и в эмиграции.

В словах пана ощущалась застарелая горечь.

— Теперь пробило время таких политиков, как Бронислав Тарашкевич — ученый, не эксплуататор, не чужак, молодой, талантливый, издал первую грамматику беларусского языка. Ты шо-нибудь слышал о нем?

— А как же! Тарашкевич основал Беларусский посольский клуб в сейме. Члены клуба сильно критикуют польское правительство за нарушения законов государства, отстаивают права беларусов. До Мотоля кое-что доходит. Газеты читаем.

— То и добре. У каждого места есть свой дух. И я там штаны протираю, — пошутил Скирмунт с прежней грустной улыбкой. — Не пришлось, однако, послужить своей земле, своему народу, ну, скажем, так, как того хотелось бы, — и сенатор подал ему руку на прощание: — Поклон Писарчукам! Скажи отцу, шо я сочувствую селянам и желаю всем-всем успеха, тебе, шалопаю, — тоже, только не в разрушении жизни! Наоборот... Иди здоровым!

Борис возвращался домой с новыми впечатлениями от дарованных судьбой знакомств в Поречье, а больше всего — от встречи лицом к лицу с типичным «классовым врагом», который тем не менее дал ему урок простоты и утонченности, объемного видения общественно-исторических явлений и процессов, к которым он сам пытался присоединиться в России.

5

Минуло что-то около трех лет после того случаем, подаренного ему знакомства со Скирмунтом; Борис много раз вспоминал пана с особым удовлетворением и грустью.

Первый раз, пожалуй, когда узнал об аресте польской политической полицией — дефензивой в январе 1927 года Бронислава Тарашкевича

и его соратников, послов польского сейма. Их деятельность в Варшаве, несмотря на запрет белорусской печати, становилась все более известной, если не сказать скандальной. Она, эта деятельность, вызывала одобрение и благодарность, поддержку у населения Кресов Восточных.

Коммунистическая партия Западной Беларуси обратилась к своим землякам, рабочим и крестьянам, с листовкой:

*Долой фашистское самовластие!
Немедленно освободить всех политических узников!
Долой провокационные планы Пилсудского против революцион-
ного движения в Западной Беларуси!*

Отдельные абзацы листовки Борис перечитывал для себя и преданных своих слушателей из мотольской суполки по нескольку раз. И каждый раз у него замирало сердце при представлении общей картины того, что творилось на закабаленной земле белорусов.

На заседании суполки Петро Минюк поставил вопрос о проведении в Мотоле массовой акции в поддержку жертв террора.

— Какой акции? — спросил его брат Василь.

— Давайте обсудим...

— Во-первых, — предложил Борис Романович, — нам стоит использовать надлежащим образом легальные формы. Поэтому я предлагаю провести собрание кружка Крестьянско-Рабочей Громады.

— Правильно! — одобрил Минюк, в хате которого проходило заседание.

— И сделать собрание расширенным...

— Принять на нем обращение протеста, — внес предложение Язэп Палто.

— Это мы сделаем.

— А еще, когда зима пройдет, устроим маевку, — добавил Федор Филинович.

— Так долго же ждать!..

— Почему? Свободное время мы используем на ее подготовку.

— Федор прав... Поработаем вместе с комсомольцами. Как, товарищ Кузюр? — обратился Минюк к секретарю комсомольской организации, присутствовавшему на заседании.

— Ну так... Согласен, — ответил Степан Кузюр. — Мы теперь под видом участия в деревенских молодежных сходках проведем собрания, подготовим участников.

— Правильно! Ради этого Филинович может передать вам необходимую литературу. А я даю листовку, которую Борис тут зачитал. Всего десять экземпляров — мало?.. Придется переписывать.

— Невелика беда! Это мы умеем делать. Длинный текст, сделаем покороче.

— Веселая у вас работа, однако, пане секретарь комсомольской организации, — пошутил Борис Романович. — Ходите до девок, танцуете с ними, за титьки их лапаете, бумажки суετε за пазуху, а считается, что проводите массовую политическую работу!

— Тогда, если кому-либо завидно, — с улыбкой парировал Степан, — проща, пане, вместе с нами в путешествие по деревням.

— Вот, это было бы кстати, — засмеялся Минюк. — Листовки ж Борис уже наизусть знает. Подними среди ночи — как «Отче наш» прочитает! Ну, хватит. Время расходиться.

То был трудный год, когда много людей голодало. Не находя возможности выкарабкаться из нищеты и нужды, не одна крестьянская семья покинула свою родину — поехали на край света: в Соединенные Штаты Америки, Аргентину, Австралию.

С приходом весны угроза голодной смерти увеличилась, и, пожалуй, это обстоятельство не в последнюю очередь поспособствовало тому, что на митинг под Мотолем, в зеленой рощице, собралось несколько сотен местичей.

— Товарищи! — обратился к ним Петро Минюк. — Жатва голодной смерти растет. Поели семена, картошку, свели скотину... Многие, с позволения сказать, питаются древесной корой, отходами. Нищенствуют. И останутся поля незасеянными, а там будет еще больший недород — повсеместный голод, массовое вымирание. Кто виновник всей этой злыбеды — все большей нужды и голода?

Толпа ожила, слышались голоса:

— Паны и помещики!

— Фашистское правительство...

— Бесправье и издевательства...

— Не продохнуть от налогов!

— Товарищи, где выход?..

— А он в нашей совместной борьбе, в том, чтобы показать панам, что мы тоже люди и что нам не пристало жить тут на правах тяглового скота.

До локтя Бориса дотронулся Степан Кузюр, худощавый, энергичный в движениях:

— Спадар* Борис, совсем не исключено, что за нами следит не одна пара глаз шпегов, поэтому резолюцию митинга, которую вы подготовили, пускай зачитает кто-нибудь другой. Как вы считаете, могу я это сделать?..

— Метишь в герои, Степане?

— Да не-ет! — покраснел Кузюр.

— Я человек не гордый! — и Борис передал комсомольцу сложенное вчетверо письмо.

* Вежливое обращение по типу «господин», вернувшееся в обиход из средневековья.

...В феврале 1928 года начался длительный судебный процесс — он закончился аж в мае, — возбужденный диктаторским режимом Юзефа Пилсудского против 56 деятелей патриотического и прокоммунистического движения, преимущественно актива Белорусской Крестьянско-Рабочей Громады. Угодила на крючок дефензивы и мотольская суполка. Еще год назад арестовали Петра Минюка, а вскоре и его брата Василя. Потом при обыске в доме Николая Минюка, дальнего родственника тех двух Минюков, нашли секретные письма и шифрограммы, выведшие следователей на секретаря комсомольской ячейки Степана Кузюра.

В обвинительном акте, составленном прокурором Дрогичинского повета, значилось:

Минюка арестовали в июне 1927 года. Он признался, что был членом коммунистической организации, в которую его втянули Кузюр Степан и Романович Борис (псевдоним Писарчук). Их ячейка подчинялась подрайкому в Кривицах, а когда Минюк был в армии, райком перебазировался в Мотоль. Минюк заявил, что после службы «отошел от политики». Романович Борис на допросе не признался, что принадлежал к партии.

Минюк Николай Федорович, 23 года, и Романович Борис Петрович, 23 года, за принадлежность к КПЗБ обвиняются по ст. 102 ч. 1 УК и на основе статей 208 и 523 УПК. Это дело надлежит рассмотреть в Пинском окружном суде.

На счастье, Романовичу не пришлось сидеть как арестанту. Помог случай. Когда он, прибыв в Пинск, ждал своей очереди на допрос в казенном помещении перед дверью следователя, в комнату зашла пани, как потом выяснилось, жена следователя. Воспитанный в лучших традициях прежнего, разрушенного до основания мира, Борис встал, поклонился ей и отворил дверь в кабинет начальника. Пани была приятно удивлена благородными манерами арестанта и попросила мужа отпустить его на свободу, что тот и сделал.

Судьба была милостива к молодым людям — Борису, как, впрочем, и к заключенному Степану Кузюру. Какой-то другой счастливый случай помог ему сбежать из пастарунка*. Прямо в наручниках. Некоторое время он прятался у знакомых, а когда полиция напала на след, еще раз сбежал, теперь уже за границу — туда, где Советы.

Приговор заключенные ждали недолго. Тарашкевичу дали двенадцать лет тюремного заключения, Минюкам — по пять... Другим — тоже тюрьма.

* Пастарунок (польск.) — полицейский участок.

И теперь Бориса беспокоило то, что Тарашкевич, на которого показал ему помещик Скирмунт как на центральную фигуру в легальном белорусском движении и на которого пан, как и много кто из белорусов, возлагал свои надежды, оказался за решеткой. Это вообще было жестоким репрессивным ударом пилсудчиков по белорусам, по их гордому духу, по душам, закабаленным, но пока не сломленным.

Не все арестованные, правда, с честью вышли из показательного антибелорусского процесса, насколько буффонадного, настолько и облыжного. Потом ходил слух, что некто Радослав Островский, который, между прочим, являлся участником Всебелорусского конгресса и Слуцкого збройного чина и который возглавлял в Вильне Белорусский кооперационный банк и финансировал коммунистическое движение в Кресах Восточных, изменил взгляды, отрекся от своих друзей, стал выступать за сотрудничество белорусов с санацией. Все удивлялись этому. А что думал сам Островский — одному Богу известно.

После таких потерь и неудач коммунистическое движение затихло и кое-где рассыпалось, частично ушло в подполье. Тлели до поры до времени подернутые серым пеплом уголья и в Мотоле. Борис это чувствовал, но согласия в его мыслях больше не было, да и шли его мысли уже несколько иным порядком.

Как-то в отцовской библиотеке нашел он тоненькую, как налистник, брошюрку. Собственно, отец же и посоветовал ему ее почитать. На обложке было указано: А. Береза. «Российско-польский пир и белорусское похмелье». Книжечка была издана в Пинске в типографии «Насто» в 1921 году.

«В давно минувшие времена жестоких войн, — читал Борис, — когда одно из диких племен побеждало другое более слабое племя, то победители на поле битвы праздновали свою победу: всем пленным связывали веревками руки и ноги, раскладывали их по земле и клали на них доски, покрывали те доски ковриками, а потом садились сами, распевали песни, пили хмельной напиток и, напившись допьяна, танцевали на этих досках. Стоны и крики обездоленных пленных, лежавших под досками, еще больше веселили подгулявших победителей и заглушались музыкой, смехом, пьяными оргиями...»

И дальше неизвестный Борису автор перебрасывал мостик от давних племен в ближайшие года и современность, когда уже целые народы, считавшие себя культурными, побеждали в войне более слабых и праздновали победу, почти как те дикари, только вместо досок они накладывали на захваченный народ и его землю другой пресс — свои государственные учреждения, свою имперскую идеологию, язык и религию. Так поступала Россия в отношении Польши, Украины и Беларуси.

«Российские чиновники, — читал Борис, — совсем не понимали местного — ни польского, ни белорусского — языка и во всех учреждениях писали и говорили только на русском языке, даже запрещалось обращаться к чиновникам на польском или белорусском языке».

Брошюра захватила Бориса так, что отдельные страницы он перечитывал по нескольку раз.

Автор выражал свое крайнее удивление Польшей. Она же только что вырвалась из российских тисков, немецкой оккупации, а как только набрала немного силы, встала на путь своих же угнетателей. Польский режим под видом борьбы с большевиками занял почти всю Беларусь, говоря себе и всему миру, что польские войска занимают не белорусские земли, а исторические пространства Польши. Он кричит на весь мир: *«Нема жаднэй Бялорусі. Есць тылькі велька ад можа да можа Польшка!»* С другой стороны, советское правительство, считая Беларусь «западной областью России», также толкает Красную Армию на белорусские земли.

Автор ярко высвечивал самую большую беду белорусского народа, он как будто гвозди забивал в сознание Бориса, ставя один за другим вопросы:

Каким образом Польша из угнетенной стала угнетательницей?

Почему польская власть в 1919 году разогнала белорусское правительство в Менске и членов правительства бросила в тюрьму?

По какой причине закрыт в Городне белорусский Национальный комитет и польские жандармы арестовали белорусских деятелей?

Почему арестовывают белорусских учителей и высылают в концентрационные лагеря?

Почему польская власть препятствует открытию белорусских школ и польские жандармы избивают крестьян, которые требуют для своих детей белорусскоязычного обучения?

Почему, наконец, польская власть закрывает белорусские газеты и вообще не дает свободно развиваться национальным белорусским организациям, не хочет существования независимой Беларуси?..

Все эти вопросы не однажды задавал себе и Борис, но они не вызывали такой явственной тревоги и боли, пока не были прочитаны в книжке. Печать придавала им как бы законный статус, силу, выразительность.

Российское притеснение польского народа воспитало в национальной аристократии, определяющей теперь контуры польской политики,

отъявленную ненависть ко всему российскому и в целом всему польскому. Однако теперь белорусский народ лежал под «культурным» пресом, под толстыми досками режима пилсудчиков, а паны насмехались и пировали, сидя сверху.

По поручению отца Борис вез мед в Поречье для купца Клямки. Это был приземистый, с огненно-рыжей бородкой и широкой плешью на макушке гном, именно так он воспринимался. А фамилию — Клямка — дали ему, наверное, из-за широкого плоского носа, которым он принохивался ко всему, что пахло.

Клямка взвесил мед, привезенный из Мотоля Борисом, заглянув при этом в бидоны, записал вес, подсчитал, сколько он должен будет денег, и дал Борису расписку. Подсчет обещал ему хорошую прибыль. Уткнувшись на миг небольшими суетливыми глазками на Бориса, он улыбнулся:

— Мед — ценность вечная. Проша, пане, в хату!

В хате они сели за стол, накрытый белой скатертью, взяли по чарке.

— За здоровье пасечника селянина Петра Романовича! — возвестил Клямка.

— Дзякуй, пане дабрадзею! Таких людей, как мой тата, действительно мало, и они крепят фундамент, на котором мы восседаем.

— Ото ж, ото ж, святая правда!

Закусывали хлебом с салом, пахучим медом с солеными огурчиками.

— Такие люди — как зодчие. Не то, что мы с вами!

— А что — мы?..

— Как те гусеницы на капусте! — подзадоривая, сказал Борис.

Глаза у Клямки расширились.

— Гм... Вижу, млоды пан не нашел для себя достойного занятия в польской державе?

— Возможно... Только мне хотелось бы понять, пане Клямка, что такое «достойное занятие»? И достойным ли жизни, скажем, было то, чем занимались тут, в Поречье, паны Скирмунты, дед и отец ясновельможного пана Романа?

— То Скирмунты создали производство, которое разрушила война. Суконная фабрика вывезена.

— Так... Однако же я уточню вопрос: стоит ли мне, скажем, наживать добро и быть паном себе и людям, быть, например, помещиком Скирмунтом?

— О-о, пся крев, чего захотел млоды хлоп, а? Интересно, какая планида предопределяет твой путь в жизни?

— Я о том не знаю. Но в тот мой приезд сюда, пане дабрадзею, я имел встречу с паном сенатором Скирмунтом, и после продолжительного разговора с ним у меня возникли вопросы.

— К нему?.. Однако же он теперь в Варшаве. Имением управляет его сестра.

— Пане а пане, вопрос к вам: соответствует ли человеческому достоинству ваше занятие? Как купец вы ищете свой интерес и на том мало-помалу наживаете себе капитал. Хорошо это или нет? И обладает ли человеческим достоинством помещик Скимунт, на которого работают крестьяне? Как считаете?

У Клямки глаза еще больше округлились, и он прошептал:

— Свента Мария! Что я слышу: ты коммунист?..

Борис выдержал его вопрошающий взгляд:

— Вас интересует мое мировоззрение? Если так, отвечу. Живя в России, я встречал коммунистов. Я слушал их речи. Но мне не приходило в голову, что нужно выслушать еще и противоположную сторону. Теперь я пытаюсь компенсировать свой просчет и, разумеется, с вашего позволения, ставлю вопросы.

— Не тшэба! — воскликнул встревоженный Клямка. — В Польше, где правит маршалок Пилсудский, такие вопросы задавать никому не позволено! Да и кто может определить достоинство человека, кроме самого Господа Бога? На помещика Романа Скимунта крестьяне молятся. Пан Роман перенял от своих родителей наилучшие черты и стал заботливым хозяином. Он человечен. Он добр к своим и здешним крестьянам — не одной обедневшей семье в деревне помог, привез, порезал и поколол дрова зимой. Пускай себе и с помощью других людей. А весной, когда у кого выходит надлежащий запас, подсыплет зерна в крестьянскую засеку. Грех, велький грех, пся мать, ставить под сомнение человеческое достоинство Скимунтов.

Слушая пылкую тираду пана Клямки, Борис Романович сдержанно и хитровато улыбался. На прощание попросил купца не обижаться на него.

Возвращаясь домой, он умышленно проехал мимо панского имения, заглянул в парк. Проехал той самой рощей, с опавшей на этот раз листвой, откуда тогда, как чудо, выскочила панская пролетка.

Прошли чередой воспоминания, были в них светлая грусть и восхищение помещиком, гражданином, политиком — личностью, которая по капле собирала в себе, ярко воплощая, все особенное, извечное, отеческое, белорусское, знакомое, знаковое — едва ли не саму Батьковщину.

Однако же понемногу отошли куда-то вдаль, упорядочились, очевидно, легли на дно, в запас и эти впечатления, представления, картины. Жизнь двигалась независимо от воли одного человека, имя которому то ли Борис, то ли Петро, то ли Роман. Жизнь вводила в новые лабиринты и требовала воли, опыта, энергии, чтобы во всем разобраться. А молодость — злодейка, она брала свое. И вскоре горячее бунтарское сердце Бориса перешло на иные ритмы. Оно тянулось уже, пожалуй, не столько к политике, сколько к девам.

После проведенных надлежащим образом смотрин, выбора и выбраковки невест на сходках, он остановился на Ганне, пригожей девице,

дочери Петра и Параски Миховичей. Это была крестьянская семья, трудолюбивая и дружная. Миховичи смогли купить сначала сечкарню, а потом еще построили и мельницу, на которой ветер нес главную службу.

И Писарчуки тоже не подкачали — приобрели не менее хитрую вещь — молотилку.

Они дружили семьями, и когда Петро Михович безвременно умер, Петро Романович научил его сыновей, Николая и Павла, пчеловодству ради того, чтобы и они познали радость от общения с удивительным, живым, крылатым конвейером. А у них была сестра... Юная верткая Миховичанка Ганна. Она вскоре оформилась и созрела, став симпатичной селянкой, открытой, безотказной в работе. Имея вполне определенное представление о девичьей чести и достоинстве, она уже оценивала достоинства мотольских кавалеров, наблюдая за ними долгим испытывающим взглядом. Бориса привлекали в ней гибкость и точность движений, ловкость в танцах, своеобразный тембр и напевность голоса.

Дай уже ж вес-на,
Дай уже ж красна-а.
Из стрих во-да ка-пле,
Из стрих вода кап-ле-е,
Да-а-й из стрих во-да кап-ле.
Мо-ло-до-му пле-ска-ры-ку
Бы-стра рыч-ка пах-не,
Бы-стра рыч-ка пах-не,
Бы-стра рыч-ка пах-не.

Летом они с Ганной заплывали на озеро; оно их радовало широким простором, легкими волнами, которые чуть-чуть колыхали лодку. Манили взгляд спокойные плесы, тростники и изумительно свежие лилии. Им казалось, что водяной аромат и аромат лилий нельзя передать словами, всем этим полнится не только озеро, но и они сами. Пережитое тогда чувство единения с окружающим миром оставалось в сердце надолго. Отдыхали на небольшом островке, покрытом шелковистой травой. В природе вообще все было таким удивительно целомудренным, и новым и всегдашним, вечным... Им тоже казалось, что на лодке они напрямик движутся в вечность и что никогда не кончатся эти счастливые мгновения.

После прогулки по озеру с лица Ганны долго не сходила таинственная и счастливая улыбка, а в ее голосе была сама мелодичность. Как раз в одну из таких минут ей под сердце и постучалась своим сердечком Маня.

Бориса Романовича вот-вот должны были призвать на службу в расхваленное на все лады Войско Польское, а это значило, что ему временно следовало попрощаться как с родительским домом, так и средоточием всех радостей, мечтаний, утех. Дома заволновались, особенно Аксинья-мать, которой стало известно про его великий грех перед Ганной Михови-

чанкой. И чтобы предупредить события, Борис за день до своего отъезда в сторону Варшавы нашел на гулянке свою милую, ясное дело, опечаленную, грустную, хоть и бойкую (не хотела подавать вида, что она в тревоге), повел к родительской хате. Но Ганна, как только узнала о намерении Бориса в этот день и этот момент назвать ее перед Писарчуками, Петром и Аксиньей, своей женой, совсем растерялась. Она почувствовала стыд и страх в душе и запряпилась уже на самом подворье. Тогда Борис подхватил ее на руки. Ганна же, несмотря на свою поруганную честь, а может, как раз и поэтому, прижималась к красивому парню и вблизи еще сильнее будоражила ему сердце. Он внес ее в хату, поставил рядом с собой. Ганна не знала, куда глаза девать. А у Аксиньи при осознании такого события заколотилось сердце от беспокойства.

Борис грубовато крикнул:

— Мама, гляди Ганну, чтобы не шли разговоры, и не давай никому в обиду. А я... я тем временем дьяволу этому служить буду. Чего уставилась? Я говорю о Пилсудском.

— Хорошо, сынку...

На следующий же день и уехал. Его ждал кавалерийский полк.

А вокруг солнца по невидимой спирали в пространстве и времени раскручивался уже 1929 год...

6

Родилась Маня аккурат в зимнюю стужу, после Крещения, когда Земля крутилась-вертелась и потихоньку выстраивала судьбу человеческую под знаком Водолея. Польские паны все еще властвовали в Пинске, Янове, Мотоле. По тем временам они хозяйничали во все стороны от Мотоля, гминного местечка Дрогичинского повета Полесского воеводства. Мане же угораздило иметь родителями коренного белоруса, старшего сына Петра Романовича — Бориса, справного высокого круглолицего парня, в паре с Ганной Михович, местной красавицей, которая станом, гибким и ладным, взглядом, добрым и улыбочивым, была ему под стать.

Маня — первая завязь, а на взгляд деда — первая ягодка их, Бориса и Ганны, любви. Обычный младенец, она сразу сделалась куколкой, от которой ждали бог знает чего; что удивительно — Маня оправдывала самые лучшие надежды родителей, всей родни в Мотоле и даже дальше, где жили свояки. Девочка активно сосала налитую и упругую Ганнину грудь и, когда ее оставляли одну, развлекалась в тишине тем, что наблюдала за различными предметами. Водолей-бедолага, верно, наложил-таки основательный отпечаток на ее поведение, поскольку глядела Маня-золотко что на мамино лицо, что на другие лица и вещи вокруг цепко, пытаясь, наверное, постичь нечто важное для себя.

Еще не исполнилось ей и годика, как крошка встала на ножки, пошла, смеясь и радуясь этому своему достижению, похоже, больше родителей. Букашка совсем, она порой залезала под стол, чтобы подслушивать, о чем в застолье ведут беседу знакомые и незнакомые дяди и тети.

Их семья жила в дедовой хате, занимая две комнаты, под спальню и кухню, и еще отдельные сени. Стоит ли говорить, что для малютки Мани, когда она начала бегать, свобода была не только здесь, но и на дедовой половине. Дед вообще был очень привязан к внучке. Имея двух сыновей, он тосковал по дочери, но дочку ему Аксинья так и не подарила. Как видно, внучка заполняла в его душе потаенный уголок. А Маня всегда тянулась к деду. Со всей непосредственностью потом она будет интересоваться его хозяйскими заботами, пасекой, и он отдаст ей все свое внимание и ласку. В таком созвучии и рождалось у них высшее единение — на радость всем в доме.

А работа на крестьянском дворе, как и вообще на земле, шла наплывом, меняясь в извечном ритме, как вода в водовороте. Этот круговорот, правда, увлекал больше Маню, малышку, чем ее отца — Бориса, вернувшегося после службы желнером Войска Польского на отцовское подворье.

В местечке, где всем уже было тесновато, ширились торговля, ремесленничество, отходные промыслы. Крестьяне устраивались на работу по найму, создавали бригады плотников и столяров, становились плесарями, то есть плотогонами на Ясельде и других водных путях. Они, дети природы, с некоторых пор стали думать о путешествиях, приключениях и деньгах, добытых, понятное дело, своими мозолями. Девушки, к слову, больше держались извечного — вместе с матерями и бабушками работали во дворе, в поле, обрабатывали и прядли лен, шерсть, пели за пряслицами, ткали шикарные покрывала, простыни, рушники, обшивали себя и родню.

В произвольном замесе крестьянских традиций и вольных ремесленнических да рыночных веяний Борис Романович искал свое место и, наконец, нашел.

В гминном местечке как раз создавалась пожарная служба. Возглавлял ее пан Юргенсон, говорили, латыш. Вот Борис и отдал ей предпочтение — стал стражаком. Этим событием, а если конкретнее — созданием пожарной каланчи в Мотоле, можно сказать, и было отмечено десятилетие польской оккупации западной Беларуси, которая, согласно Рижскому польско-российскому «мирному» договору 1921 года, стала колонией Польши.

Среди гражданского люда пожарные имели отличие — застегивались на особенные казенные пуговицы. Борис, правда, видел в польском мундире нечто большее, чем придание достоинства стражникам. Активизировалась политика польских панов по привитию земле белорусов своего пропольского оттенка. Их хлопоты были понятны. Правительство Пилсудского было обеспокоено нарастанием большевистских и в целом

освободительных настроений у жителей многочисленных гмин и поветов. На эти настроения Борис Романович смотрел как на склонность несчастного народа воспрять и вылезти на свет белый из-под досок (на которых паны пировали). При этом обозначилась тяга мужиков на восток, к объединению с той частью Беларуси, где, как считалось, справедливость ходит под красными знаменами.

Знакомясь с информацией, которой иногда пан Юргенсон делился со стражаками, Борис понял, что, вопреки воле властей, понемногу расшатывается и расшатывается оккупационный режим в Восточных Кресах. Это было видно также по выступлениям крестьян: Косовскому (с расстрелом повстанцев из винтовок и пулеметов), Асташинскому, а вскоре вспыхнуло вооруженное восстание в Кобрине. Очевидно, там протест был более решительным и смелым, чем в Мотоле, однако же и тут время от времени покой нарушали листовки, которые распространяли местные сторонники воссоединения Беларуси, установления по всей ее территории соблазнительного коммунистического общества; так что отсвет тех зарниц в Косово, Кобрине, как бы далеко они ни полыхали, определенным образом доходил и сюда.

Ко всем трудящимся Западной Беларуси!

В последнее время в капиталистическом мире, а особенно в фашистской Польше, развернулась бешеная антисоветская кампания. Римский папа, раввины и попы, буржуазия и социал-фашисты открыто проповедают новый крестовый поход против Страны Советов.

В этой позорной работе активно помогают фашистской диктатуре ее социал- и национал-фашистские агенты (ППС, Бунд, Вызваленне, Стронництво Хлопске, белорусские хадэки, Сельсоюз, Луцкевич, Островский и др.), прикрываясь лживо-оппозиционной фразой.

В сейме они голосуют за военный бюджет и, как пилсудчиковские собаки, набрасываются на коммунистических депутатов, которые смело и открыто призывают трудящихся к революционной борьбе, на защиту СССР. Вместе с полицией они расстреливают демонстрации рабочих и крестьян. Вместе с фашистами они срывают забастовки и душат их.

Вся лучшая и значимая (более половины) земля находится в руках небольшой кучки помещиков, кулаков и осадников...

Голод на Виленщине и повсеместный неурожай стали бытовым явлением. Земельная и кредитная политика фашистского правительства ставит своей целью усиление и расширение помещичье-кулацкого хозяйства и дальнейшее закабаление и разрушение бедняцко-средняцких хозяйств.

Непосильным налоговым ярмом, умноженными штрафами, недоимками, страховыми взносами, акцизами, пошлинами, сборами и другими формами оккупационного грабежа и кабалы в целом пилсудчики выматывают из трудового народа все силы.

Так дальше жить нельзя! Так дальше страдать и терпеть уже не хотят и не могут наши трудящиеся. Свои протесты и возмущения все больше и чаще они выражают в форме забастовок рабочих и волнений крестьян. Забастовки рабочих в Вильне, Пинске, Городне, кровавые стычки беднячко-средняцких масс с полицией и кулаками в Лидском, Коматловском и Тереспольском районах, демонстрации безработных в Вильне, Пинске, усиленный рост революционных настроений в армии, отход людей от помещицко-кулацких, фашистских военных и хозяйственных организаций — это наиболее яркие революционные события за последнее время.

Ни гроша правительству Пилсудского — Бартеля, правительству террора, голода и войны! Решительно бойкотируйте уплату налогов, не платите никаких взносов в кровавый фонд террора и войны. Отказывайтесь от любых налогов. Гоните прочь полицию, секвестраторов!

Вильно. Март. 1930 г.

Все, что летело вестью, звучало, кричало, все порождало у селян надежды на перемены в жизни. В лучшую сторону. Поскольку в худшую — уже было некуда!

В то же время, чтобы привлечь молодежь и втянуть ее в тотальные ассимиляционные процессы да укрепить свое политическое влияние, пилсудчики начали организовывать разные вспомогательные команды из местного люда. В Мотоле создали службу «щельцев» или, если точнее, «стшельцев» — стрелцов, — организацию военного характера из числа добровольцев, куда шли в основном молодые парни, не имеющие определенного занятия в жизни. В программу учебно-воспитательной подготовки стшельцев, кроме политики и военных занятий, входили физические упражнения и спортивные игры. В Доме людовом время от времени устраивались и стшельцевские забавы с танцами под гармошку. Нередко они заканчивались драками, в которых против стшельцев выступали местные патриоты, иначе говоря, парни с прокоммунистическим либо комсомольским замесом в душе.

Борис по-своему переживал события. Как бы то ни было, но той пожарной каланчой, возвысившейся над местечком, паны здорово помогли мотолянам, поскольку их хаты в прошлом не однажды горели. Хаты стояли плотно, стреха к стрехе — на более свободное расселение людского муравейника тут не хватало места. Из-за этого пожар, не ровен